



# ЮНОСТЬ



16+

№7/2020

7



АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВ,  
СТР. 38

# ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:  
АНП «Реданция журнала  
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —  
зарегистрированный  
товарный знак.  
Правообладатель —  
АНП «Реданция журнала  
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  
Сергей Александрович  
Шаргунов

Выпуск издания  
осуществляется  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства  
по печати и массовым  
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.  
ISSN 0132-2036

Наша почта:  
unost-org@mail.ru

Наш сайт:  
unost.org  
юность.рф  
Мы в социальных сетях:  
facebook.com/unost  
vk.com/zhurnaliunost  
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:  
125047, Москва,  
ул. 1-я Тверская-Ямская,  
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:  
125047, Москва,  
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,  
+7 (499) 250-40-74,  
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров  
Зоя Богуславская  
Алексей Варламов  
Анна Гедымин  
Сергей Гловюк  
Борис Евсеев  
Тамара Жирмунская  
Елена Исаева  
Владимир Ностров  
Нина Краснова  
Татьяна Нузовлева  
Евгений Лесин  
Юрий Полянов  
Георгий Пряхин  
Елена Сазанович  
Александр Соколов  
Борис Тарасов  
Елена Тахо-Годи  
Игорь Шайтанов

Реданция не имеет  
возможности вести  
переписку с авторами.  
Рукописи  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
Авторы несут  
ответственность  
за достоверность  
предоставленных  
материалов.  
Мнения автора  
и редакции могут  
не совпадать.  
При перепечатке  
материалов ссылка  
на журнал «Юность»  
обязательна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов  
Вячеслав Ионовалов  
Яна Нухлиева  
Евгений Сафронов  
Татьяна Соловьева  
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР

Юлия Сысоева  
РАЗРАБОТКА МАШЕТА  
Наталья Агапова  
ВЕРСТКА

Наталья Горяченнова  
АДМИНИСТРАТОР САЙТА  
Антон Шипицин  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
Людмила Литвинова

Подписные индексы:  
каталог «Почта России» —  
П1972,  
объединенный каталог  
«Пресса России» — 71120

Отпечатано  
в ООО «Типография  
«Миттель пресс»

Москва,  
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:  
+7 (495) 619-08-30,  
+7 (495) 647-01-89  
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз.  
Формат: 60x84/8  
Заказ №

«ЮНОСТЬ»  
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки  
рисунок Енатины Горбачевой  
«Ночное озеро»

# ВОСПОМИНАНИЯ

- 6     ВАЛЕРИЯ КРУТОВА  
      КЛИПСЫ  
      ЛИШЬ БЫ НЕ ЗИМА
- 10    АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ  
      ВЫ НЕ КРАСАВИЦЫ
- 21    ДАРЬЯ ПРОТОПОПОВА  
      ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
- 31    ЮЛИЯ АРСЕНЬЕВА  
      КОНЕЦ РОМАНА  
      ЧАПА
- 33    ЮЛИЯ КАЗАНОВА  
      БАШМАНИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ  
      ДОЖДЯМИ И ШЛЯПА

# ПОЭЗИЯ

- 38    АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ
- 41    ИЛЬЯ РЫБОЛОВЕЦКИЙ

# ПРОЗА

- 46    ИВАН ГОБЗЕВ  
      ГЛУПАЯ ИСТОРИЯ
- 60    МИХАИЛ НЕЧАЕВ  
      ЮНОСТЬ



# НЕФОРМАТ

90 ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН  
КОЛЛЕКТОР

100 ВЛАДИМИР КРУПИН  
НАН ТОЛЬКО, ТАК СРАЗУ

# НАША ПОБЕДА

128 ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО  
«НОБРА» АТАКУЕТ С ТЫЛА

132 РОМАН СЕНЧИН  
САМАЯ НЕОЖИДАННАЯ КНИГА  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

# ЗОИЛ

136 АНДРЕЙ РУДАЛЁВ  
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА.  
ИСТОРИИ ЛЮБВИ



| Юность № 7  
| Июль 2020

| Тема номера:  
| Воспоминания

# ВОСПОМИНАНИЯ

# КЛИПСЫ



ВАЛЕРИЯ НРУТОВА

Родилась в 1988 году. Получила юридическое образование, работает специалистом по информационной безопасности. Участник 18-го и 19-го Форумов молодых писателей, организованных Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

– Сумасшедший, смотри, какой! Сидит на мокрой скамейке. Эй, ЧЕЛОВЕК! Челове-е-ек! Промокнете, заболеете! – Пожилая седовласая женщина перевалилась монументальной грудью через окно, вытянулась по пояс наружу и повернула голову в сторону соседского балкона.

– Да он уже часа полтора там сидит! Вот как дождь зарядил, так и сидит, – ответила ей соседка.

Они покачали головами, цыкнули, причмокнули возмущенно губами и спрятались по домам.

А человек сидел. И даже не посмотрел в сторону заботливых бабулек.

Разве может понять бабушка, которая видит эту лавочку ежедневно из окна, ставит на нее тазик с мокрым постельным бельем, развешивает простыни на проволоке рядом, а затем бдительно наблюдает, чтобы ни один ребенок, заигравшись, не коснулся свежевystиранной ткани и не оставил след; разве может она понять человека, который столько прочувствовал на этой самой лавочке?

Веселый смех белокурой девочки на два класса младше, рассказы и жалобы на родителей, остроносые туфли, наверняка мамины, и по-детски накрашенные губы, вот в уголке чутко размазаны. Ее голос и небрежный поцелуй, даже не дотронулась, только помадой мазнула по щеке и убежала. Черт-те что, а не поцелуй. Помада на щеке есть, а удовольствия никакого.

Он тогда влюбился. Щеки розовые, запыхалась, она подбежала к нему, схватила за куртку и выпалила:

– Приходи ко мне ночевать, – и покраснела до пяток, наверное. И пока он тарашил глаза, соображал, что ответить, тихо продолжила: – Родители уехали. И свет выключили сегодня. Сказали, что завтра не будет. А я боюсь. Знаешь, очень. Темноты боюсь.

Он говорил: «Приду! Обещаю», – а сам дышать забывал от волнения.

И когда родителям врал, что идет к другу, и когда цветы в ларьке покупал, тоже дышать забывал. Ни минуты не переставал думать о том, что будет, как вести себя, что говорить, что делать наедине с девчонкой. Да не с простой. С белокурой, на два класса младше.

– Ну все. Теперь я тут, теперь не будет страшно, – немного громче, чем нормально, говорил он вечером и протягивал цветы. Улыбался во весь рот, осматривал небольшую квартиру, заставленную мебелью, полки с книгами изучал. И ее разглядывал – губы не накрашены, платье наглухо до шеи, и глаза, будто вот-вот расплывется, словно сама боится, дышать забывает.

– Я сейчас чай заварю!

– Я помогу.

– Помоги. Надо конфеты достать, я не дотягиваюсь.

Ни минуты не переставал думать о том, что будет, как вести себя, что говорить, что делать наедине с девчонкой. Да не с простой. С белокурой, на два класса младше.

мада подороже, и пара детей на двоих, и лавочки в курортных городках.

А теперь его заело. Как пластинку. Хочется бежать из дома и не возвращаться. Но так уже было, он знал, что надо прийти на лавочку, всколыхнуть чувства, вспомнить тот нелепый поцелуй, первый, улыбнуться и обратно к своей белокурой. И цветы по дороге купить.

Человек совсем промок. Он вытащил коробочку, открыл – клипсы с бриллиантами. Двадцатые по счету. Улыбнулся, встал и пошел прочь со двора.



Он дотянулся, достал и стоял держал, смотрел, как она заварку сыпала, кипяченую воду лила в чайник, а затем, подумав, резко под кран и проточной водой доверху.

– Кипятка не хватило, – говорила она.

А он потом пил, слова не говорил. Словно пучок сена жевал. Морщился еле заметно от запаха, вкуса, но пил. Он никогда не думал, что чай может быть таким отвратительным.

– А ты чего не пьешь? – спрашивал, глядя на пенку в чашке.

– А я чай не люблю. Вкусно?

– Вкусно...

Она постелила ему на диване, надела поверх платья кофту, застегнула. «Ты только не спи, – говорила. – Сиди, пока свеча не догорит. Я усну, а потом ты». Она убрала старый огарок, зажгла новую свечу, легла, отвернулась к стене и ноги поджала.

Она уже спала, а он смотрел на спящую, слушал, как трещит фитиль, если закрыть глаза, можно было представить себя снова в походе, у костра. Дрова трещат колко и пынут жаром. Смотрел на ухо – мочка маленькая, мягкая, аккуратно дотронулся пальцем, чтобы не напугать, не разбудить. Кожа такая нежная, что он терял равновесие от нахлынувших чувств. Будто падал, темно, летел, и только оглушительно трещали дрова.

Свеча догорела, а он сидел и думал, что ей нельзя прокалывать уши. Слишком мягкая и нежная мочка. «Клипсы куплю, – решил. – Каждый год буду клипсы дарить, но проколоть не дам».

Потом была долгая совместная история и поцелуи, гораздо более основательные и меткие, и по-



# ЛИШЬ БЫ НЕ ЗИМА

И лето не лето, весна – не весна. И осень – не осень. Одна зима. И в душе, и за окном. Непроглядная тьма даже в полдень, подходишь к двери, к выходу из дома и понимаешь, что это – не выход. А дверь заперта на замок в два оборота, на щеколду и цепочку. И гул стоит – не разобрать, ветер то ли за дверью туда-сюда об стены бьется, то ли в пустой голове.

И хочется малины. Так хочется малины, что готов сорвать эту цепочку хлипкую, щеколду, и так еле держащуюся на двух шурупах, вырвать с концами, а затем два оборота изо всех сил влево с грохотом. И тихонько, по чуть-чуть в себя запуская воздух, отворить дверь. Приговаривать «лишь бы не зима, лишь бы не зима». Тщетно. За дверью все то же, что и за окном. Тьма непроглядная. Даже в полдень.

Но так хочется малины. Крепкой, крупной, чтобы косточки в зубах застревали – настоящей. А не той, что на зиму с того лета не лета заморожена. Она после морозилки – словно старая тряпка, что на вид, что на вкус. И вот стоишь, вспоминаешь тряпку из морозилки – красную тряпку, понимаешь, что и в магазине настоящую малину не найти. Зима. Злишься... и дверь назад с грохотом. И снова гул в голове, и радуешься, что щеколда с концами не вывернута.

Запираешься.

Гул. Тьма. Зима. И нет выхода.

И знать бы тогда, той весной не весной, знать бы, как холодно будет дальше. Как одиноко. Как страшно. Как гулко будет в пустой голове... И что? Ну знать бы. И что? Будто ты можешь изменить ход своей истории. Личной, не интересной никому, только твоей истории. Каждая история однажды начинается и однажды заканчивается. Лишь бы не зимой. Потому что в этом случае минус на минус никогда не дает плюс.

Хочется распахнуть окно, обе створки так, чтобы краска белая, вздувшаяся, мелкими трещинами покрытая, лопнула и осыпалась на пол хлопьями. Хочется крикнуть в окно что-нибудь гадкое, осыпаться хлопьями, растопить теплым еще телом наледь на асфальте. Хочется выйти, выйти. Но это – не выход. Не тот выход. Не та история, которую хочется услышать, увидеть, прочитывать. Прожить, в конце концов. Не та история. Не та, которую хочется написать.

Хочется написать другую, где тьма непроглядная – в плоском экране новеньком. Некогда его включать. Смотреть некогда. Зато есть время смотреть друг другу в глаза. Есть время друг на друга. Есть плюс на минус за окном. Плюс – это две черточки, две – не одна. Не одна.

Той весной было жарко. Было так жарко, как никакой другой весной не было. Солнце палило землю. Пололо Землю. Выжигало лишних с улицы, выжигало

слабых из жизни. С каждым днем оно становилось все больше в размерах, приближалось так скоро, что уже в апреле легонько подсвечивало кончики волос на головах редких прохожих. Солнце словно пробовало свои силы. Сожгу не сожгу. Словно играло в прятки. Точнее, в не-прятки. Никуда от него не деться, никуда не спрятаться.

Выходишь на улицу, подставляешь нос, еще белый, солнцу. Ждешь, когда, обойдя период веснушек, солнце высушит нос до шелушения, то красноты, до ожогов. А ты стоишь, закрыв глаза, и ждешь, когда сожжет оно тебя дотла, до сердца. И сердце дотла. Хотя... оно и так.

И малины. Никакой не будет малины. Такое солнце не даст кустам разрастись, не даст зацвести, не даст ягодам жизни. И даже зимой не будет тряпки красной в морозилке. А это солнце – долгожданное, жестокой красной тряпкой висит над тобой и ухмыляется. Ты распахиваешь глаза, злишься, но тарачишься в небо, не сводя взгляда с солнца. И глаза уже не глаза, а красные мокрые тоннели к сердцу. То ли доступ солнцу открывают – сожги уже. То ли победить хотят солнце наглостью, смелостью. И ты смотришь, плачешь, смотришь. Победишь, в конце концов. Солнце сжалится и уйдет за облака, которые напоминают кролика с ломтем сыра в пасти.

«Спой, светик, не стыдись».

А потом, слезами отирая щеки, уши, мажешь сметаной нос обожженный. Столовой ложкой загребаешь сметану – и на лицо. Ведь кому нужна сметана, если малины нет? Нет и не будет. А сметана тяжелыми каплями – нет, не «кап» на пол. «Хрясь», пробивая пол, выбивая его из-под ног. И ты надеешься, что там, под полом, земля. Обожженная, опаленная, но крепкая. Устоять можно. Но сметана тяжелая и Землю может сместить. Не устоять на двух ногах, когда либо плюс безжалостный, либо минус безразличный.

Черное-белое. Черное-белое. Так хочется серого. Спокойного. Скудного. И малины очень, очень хочется.



# ВЫ НЕ КРАСАВИЦЫ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОК-МУЗЫКИ И ТОНКОЕ ИСКУССТВО КОМПЛИМЕНТА:  
КАК ИХ ПРЕПОДАВАЛИ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ



АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ  
Журналист, музыкальный обозреватель, переводчик. Родился в 1975 году в Москве. Окончил МНЭПУ. Сотрудничал и работал в штате в разных газетах и журналах — «Московские новости», «Ведомости», «Время новостей», «Российская газета», Where Moscow,

Play, Billboard, «Музыкальная жизнь» и т. д. В его переводе опубликованы автобиографии Эрика Клэптона и Мэрилина Мэнсона, биографии Джона Леннона, Робби Уильямса, Led Zeppelin, AC/DC и др., а также исследования «Нак музыка стала свободной» Стивена Уитта, «Тинейджеры» Джона Севидна и др.

Лауреат премии журнала «Октябрь» в номинации «Критика» (2017).

В шестом классе я отказался стричься и к седьмому оброс как Кинг-Конг.

Родителей это бесит, учителей страшно бесит, но сделать никто ничего не может. Давно прошли те времена, когда во втором классе наша учительница прямо на уроке постригла двоюродника Сидорова, у которого мать алкоголичка. Сейчас на дворе перестройка, новое то есть мышление для всего мира и нашей страны, как говорит по телевизору Горбачев, для которого у моей матери одно определение: «Бог шельму метит». Мышление явно не для моей мамы и учителей, но они уже ничего не могут со мною поделать. Только отчитывать меня периодически в кабинете завуча. Вот так вот примерно:

- Хорошев, ты опять не постригся?
- У меня прическа такая.
- Так, Хорошев, чтоб завтра постригся. Понял?
- Мне *так* нравится. Удобно в хвост завязы...
- Ты хочешь выделиться! — не дослушивают они.
- Нет, нет. — Спорить бесполезно, они давно все решили. — Просто мне так...
- Ты хочешь от всех отличаться!
- Да нет же, я наобо... — Это по инерции говорится.
- А чего ты орешь, а? — Выводы сделаны, переходим к обструкции. — Ты чего это на учителей голос поднимаешь?
- Я не ору!!!

— И не оправдывайся! Молчи! А то исключим — пойдем в «тридцатку»!

Школа номер тридцать на Плющихе — для неуспевающих. Для дебилов то есть. Там алфавит только к десятому классу выучивают. Ну или типа того. Точнее не знаю, слава богу. Думаю, вообще не выучивают. Такая у «тридцатки» репутация. У хорошего места такой репутации не будет. Хотя кого-то, уверен, прельщает идея выучить алфавит только к десятому классу. Чтобы на следующий год забыть его навсегда.

К вопросу об учительском мнении обо мне. Фокус в том, что как раз чего я боюсь больше всего, даже больше «тридцатки», — это отличаться. Но именно это я и делаю. В смысле — отличаюсь. Даже — сильно. На уроках физкультуры последним в ряду. Всегда, во всех классах. Один раз предпоследним поставили, но тоже четверть простоял — тогдашний самый мелкий в другой город переехал. Гад. В лучшем случае — предпоследним. Как бы я ни прибавлял в росте за лето, остальные росли быстрее. Так тебя и воспринимают, так к тебе и относятся. Не круто! «Мистер самый мелкий человек», пытаюсь над собою посмеиваться. Самоирония — лучшая защита. Девочки говорят, что я забавный.

Так-то проблем больше никаких. Учусь нормально, по поведению редко «уд.», в основном «хор.». Никто меня не трогает — все знают, что я друг Миш-

Друзья говорят: ты ж не носишь джинсы клеш и там какие-нибудь замшевые пиджаки с гигантскими воротниками, как предки наши на старых фотках, – вот и нефиг слушать то, что они слушали.

ки; Мишка на два года старше, живет в моем подъезде, в школу уже не ходит – отчислили, наверное. Авторитет.

Я как раз хочу быть как все, но, блин, не как все я. Быть мелким очень фигово. Очки, жирность, длинный нос, уши-лопухи – все лучше, чем мелкий рост.

\* \* \*

Родители мои разведены. Мы с матерью вдвоем живем. Недавно втроем жили, но Арк, дядька мой, мамин брат по имени Аркадий, к жене умотал. Думали, не женится никогда, старый уже, за тридцатник, а он вдруг раз – и все. Она с ним в НИИ работает.

Мой отец недавно заезжал – позвонил, спросил, дома ли мы, – я даже не сразу узнал его по голосу. Но явился. Сел на кухне. Я налил ему чайку крепкого «со слонем», из заказа с маминой работы.

Смотрю на прихлебывающего отца. Сейчас он мне кажется маленьким и толстым. А кожа на лице слегка обвисшая, как будто воздушный шарик медленно сдувается. Вспомнился старенький карлик из какого-то фильма, который мы с Одуваном по видуку смотрели. Отец ставит чашку.

– Пап, – подкидываю тему, чтоб не началось про «как учишься», – а я тут музыкой всякой *увлекся*.

*Увлекаться музыкой* – так взрослые говорят. Мы говорим *фанатеть*. Но вдруг старик-отец таких слов не понимает? Хотя увлекаться – дурацкий какой-то глагол, увлекать себя – увлекают в дебри, а я с музыкой, скорее, *нахожусь* – нахожу себя. С собою в мире и покое. Но это сложно, я тогда так не фор-

мулировал – позже придумал, когда уже взрослым заставил всю квартиру – не эту, более большую, свою, бесконечными стеллажами с CD, о которых мечтал в те годы, которые тут вспоминаю.

– А, хорошо, – оценил отец. – Музыка – катализатор мыслительных процессов в мозгу.

Он всегда так выражается. Я рискнул развить тему:

– Рок слушаю. Классический. Английский и американский. Битлов, цеппелинов...

– Питэр, – резко перебил он меня. Кстати, это он, англофил, начал называть меня Питер, потом до меня дошло, что Питер Хорошев – это почти что Пит Бэст, ну я и начал так представляться, погонялово прижилось. – Питер, названные тобой исполнители являются представителями массовой культуры, которая относится к низменному вкусу! При их влиянии ты испортишь себе мозги и вкус... если он у тебя и был когда-то.

Я не понял, что это значит: как вкус может быть низким, это ж не дерево. Да каким бы ни был мой вкус – мне нравится, я тащусь, а отец ничего в рок-музыке не понимает. Он ее, наверное, и не слышал никогда. Замяли тему, короче.

Отец просидел еще с полчаса, ни о чем не спрашивая, попивая чай и роняя ничего не значащие фразы типа «Ну где мать-то? Чо-то она, мать-то, прям это...» Пришла мама, увидев его, не удивилась, не раздеваясь, достала из сумки сложенный вдвое большой серый конверт, который ему и вручила. Отец ушел, мама сказала, что алименты мы больше получать не будем. Я не спросил почему. Не будем и не будем. Нечего нам побираться, и так живем нормально. С отцом я с тех пор не общаюсь. Повода нет.

Да, я действительно люблю древнюю рок-музыку, которую из моих друзей никто не любит, потому что она немодная уже лет пятнадцать. Битлы, роллинги, Queen, Deep Purple, Uriah Heep – я их записи у Арка на «катушках» слушал (или брал, перекачивал на кассеты, слушаю на своем мафоне). Но никого на старый рок посадить не могу, даже друзей. Друзья говорят: ты ж не носишь джинсы клеш и там какие-нибудь замшевые пиджаки с гигантскими воротниками, как предки наши на старых фотках, – вот и нефиг слушать то, что они слушали. А я б, может, и носил бы все те джинсовые клешы, замшевые камзолы и здоровенные очки. В них индивидуальность была, а сейчас все ходят – вроде шмотки разные, но какие-то однотипные. А половина парней прям вообще именно что в одном и том же – джинсы-бананы (пирамида), высокие белые кроссовки симод или

корандо, пестрый свитер с вышитым словом BOYS почему-то. Как инкубаторские.

По музыке если базарить – то тут так: друзья тащатся от металла типа Iron Maiden или Асепт. Это еще не очень плохо, потому что в основном все *слушают* Modern Talking, Сабрину, Сандру, Си Си Кетч и прочую парашу с дебильными названиями. Поэтому на дискотеках школьных мне тоже делать нечего – я под такое не танцую. Хотя – хочется. Спасают медленные танцы под «Скорпов».

Да, собственно, волосы я отрастил по принципу «хуже не будет» – так и так выделяюсь, так что лишняя копна на кумполе рояля не сыграет. Да даже если б у меня рог кривой торчал из лба, это было бы не так катастрофично, как этот проклятый низкий рост.

Когда волосы распущены, незнакомые обращаются ко мне «девочка». С хвостом когда – меня дразнят Малининым, есть такой певец романсовый. Мне-то хочется думать, что я похож на Рика Парфита из Status Quo. Но у нас из всего Status Quo одну только песню знают, про армию которая – которую еще этот жирный дебил Сергей Минаев перепел – так что не особые они у нас тут рок-кумиры. Что обидно.

К учительским наездам я привык. Ученику нахамить – для них обычное дело, их как будто в институте этому учат. Метод такой: они делают вид, что с тобой разговаривают, типа понять они тебя хотят, но на самом деле им ничего не объяснишь. Они просто не слушают. А если чуть громче заговоришь, то сразу «Чо орешь? Два по поведению!».

Ну да, вот как с вами разговаривать-то? Получается, лучше никак. И пусть мои волосы вас бесят вечно, чмошники сраные.

Так что наезды фигня, реально страшное: «Хорошев, ты что, куришь? А чего не растешь? Не кури – останешься недомерком!»

Все, самое страшное слово я сказал. Дальше ничего такого не будет. А то – ресентимент (это слово я узнаю двадцать лет спустя).

\* \* \*

Помимо Аркашиных бобин, в моем распоряжении еще один архив старого рока: коллекция «пластов» дяди Лёни. Это сосед наш, дверь напротив.

В конце 80-х наш район стали называть элитным – как коров, свиней и пшеницу, – и все местные резко начали квартиры свои сдавать. Продавать тоже, но это уже в 90-е, после приватизации. Вот так мы получили новых соседей по лестничной

клетке. Про которых мы не знали ничего. Да и вообще полподъезда народу, с которыми даже не здороваешься – не знаешь, надолго ли они вообще. На нашем этаже из «старожилов», как пишут журналисты-очеркисты в таких случаях, остались только мы с матерью и Лёня. Смурным дядькой он мне всегда казался. По жизни в темных очках-хамелеонах, с бородой, как будто лицо прячет. Ни с кем не здороваешься. Даже с матерью моей, хотя живем – дверь напротив. Однажды я вошел на кухню, где мать с соседкой, Алкой с четвертого, кофе свой горький распивали, вошел быстро, ухватил обрывок разговора: «...живет один, как волк... – Да он *нидораст!*» Последнее слово – это Алка сказала. Я сразу, как мне показалось, понял, о ком они. И тут прям испугался даже.

Через какое-то время увидел, как дядя Лёня выходит из лифта, держа в руках пластинку «Дом голубого света», поднимается по лестнице на нашу площадку. Проходя мимо, я пробормотал – здороваться я не собирался, не здоровались же никогда – «Дипапл, “хауз офф блу лайт”, 1987 год выпуска». Лёня остановился и сказал как ни в чем не бывало:

- Разбираешься!
- У меня есть такая. Только конверт посветлее.
- Значит, наша, советская. А у меня немецкая.
- Здорово, – восхищаюсь, хотя не знаю, чем именно: что у него есть Дипапл или что у него пластинка немецкая, которая по-любому лучше нашей «мелодиевской». Но мне правда интересно: – Небось звучит лучше?
- Хочешь послушать?
- Ну, блин! Но вы ж мне не дадите...
- Дать, извини, не могу, – кивнул он. – Но можно ж у меня. На, поддержи.

Он протянул мне этот драгоценный – наверняка! – конверт, полез в карман брюк за ключами.

Я забыл обо всем и пошел за Лёней в его квартиру, напоминавшую темный лабиринт со стеллажами от пола до потолка.

\* \* \*

На физре тоска всегда. То бегаем так, что в груди сдавливают, как от хорошего удара пяткой, то мячики и гранаты бросаем, метаем в смысле, или мечем, как на войне из окопов прям. Кому это надо все. Лучше б нас в бассейн в Лужники водили б.

Сегодня опять подтягивание сдавали. Или подтягивания? *Его* или *их*? В моем случае точно *его*, ибо

больше раза не могу – в прошлой четверти, зимой, неужели что-то могло измениться за два месяца? Если физрук так думает, то он отличается крайней наивностью, как сказала бы моя бабушка.

Сейчас май, тепло, самое оно по улице бы побегать, даже я не против. Но нет, бегали мы по грязи, а сдавать подтягивания будем в пропахшем потом и резиной зале.

«Хорошев! — кричит физрук. — Давай, истребитель!». И я плетусь к турнику.

Спрыгнув после жалких своих конвульсий с турника, ударился коленом об пол из кривых, жирно вымазанных бордовой, как запекшаяся кровь, краской, поковылял обратно в строй, в конец позорный свой, а физрук мне: «Ну, Хорошев, елки зеленые, ты совсем дохлый, как ты девушку будешь защищать от хулиганов в подворотне?» Не хожу по подворотням, пробормотал я. «А в армии как будешь, а?» А не возьмут меня, говорю, по состоянию здоровья. «Да что ты говоришь? Петя, запомни: в советскую армию любого возьмут, кто своими ногами в военкомат пришел!» Сейчас, говорю, перестройка. Он махнул рукой: «Советская армия – это надолго. Может быть, навсегда». Сказав это, физрук как-то помрачнел и приказал девочкам подтягиваться. А у них подтягивание халявное – низкая перекладина, тело под углом градусов в сорок пять, пятки на полу, – так и я хоть сто раз смогу. Главное: у девок в такой позе на этом псевдотурнике сиськи видны хорошо.

\* \* \*

|||||

Лама с первого класса дружила с Катей Быковой по прозвищу Корова. У кликухи происхождение простое: Быкова, бык, корова... Говорили, что полрайона ее уже отымело. Правда, я вообще таких людей не видал. Ни одного. А говорили те, кто даже свечку не держал (была такая модная присказка, про свечку).

А Лама – она вся такая приличная, интеллигентная. Тонкая. Корова же полная, сиски рано выросли, лицо круглое, нос картошкой, глаза желтые. Оттеняют друг друга. В 7-м классе это стало особенно актуально: Лама защищалась от приставаний, Корова грелась в лучах ее благочестия, если можно так выразиться.

А вообще таким вот красивым-интеллигентным ламам не везет – приличные парни не рискуют к ним приближаться, уверенные, что облом будет – еще и в присутствии язвительно-грубоватой Коровы, – а в результате брешь пробивает какой-нибудь наглец-сволочь-эгоист.

Корова дружила с Одуваном. Ну как дружила – они менялись жвачками какими-то или даже сигаретами, подозреваю. У Коровы отчим таксист, у Одувана родители по заграницам, и сам он с ними где-то жил, в Алжире типа. Я подумал, что могу спросить Одувана спросить у Коровы спросить у Ламы – самому смешно уже, да, – как Лама ко мне относится.

Сначала я решил взять слово с Одувана, что он никому не разболтает.

– Что именно не разболтаю? – уточнил Одуван. – Чего у тебя за тайны?

— Про... ммм... девушку одну.

— Втюрился!

— Нет.

— Колись, в кого!

— Да не, не, все, иди на фиг, Одудан.

Отмазался, короче.

Вечером бесконечно слушал цеппелиновский Communication Breakdown. Название песни – прям по теме: никакой у нас коммуникации.

\* \* \*

|||||

— Ты куда? — спросила мать вечером.

— К соседу.

– Слушай, – она начала закипать, – не нравится мне, что ты к Лёньке таскаешься!

— А чо такого? Я пластинки переписываю.

У матери на щеках расцвел румянец, как бледный пион. Сейчас орать будет.

– Вот так и будешь, – она шумно втянула воздух носом, ноздри затрепетали, ну все, мне хана, – всю

жизнь пластинки переписывать! Как Лёнка, точно. И ладно бы музыка *настоящая* – а то рок этот дурацкий, ни уму, ни сердцу. Бездельники вы! Это несправедливо.

Я школьник. А Лёня и

Лёня как Аркадий наш. И кооператив открывать собирается. Компьютеры паять.

— Напаяет он, как бы ему потом чего не припаяли! Нет, все-таки как люди не меняются — это ж удивительное дело.

— Кто не меняется? — Я перестал что-либо понимать.

— Да что с тобой говорить... — махнула рукой мать. Она всегда махала рукой, как будто отправляла поезд, когда не знала, о чем еще со мною поспорить и за что меня отругать.

— Действительно, не к чему, — ответил я впервые в жизни так. Наверное, дерзко — с матерью не хочет разговаривать! Но если действительно не хочу. В таком, во всяком случае, тоне.



Иголка бесшумно  
опустилась на медленно  
вращающееся виниловое  
поле. Никаких щелчков,  
легкое шипение. И вдруг —  
разболтанная гитара,  
голос дрожащий и резкий,  
как наждак.

\* \* \*

- Лёнь, а вот мои родители... — начал я, когда тот распечатывал пластинку «великой американской группы, которую у нас никто не знает». Во внутренностях пластинки — фото, где какие-то дядьки толстые, волосатые и бородатые, как какие-нибудь крестьяне со старинных картин. Grateful Dead.
- Лёнь, — снова начал я, когда пластинка уже закружилась и игла опустилась с шипением. — Вот меня родители чмырят за то, что я музыку слушаю.
- Ну у них же другие вкусы, они не любят ни блюз, ни рок тем более.
- Чмырить-то зачем?
- Да не обращай внимания, родители тебя любят и хотят, чтоб ты учился хорошо.
- Это понятно. Но музыка разве мешает?
- Надеюсь, что нет.
- Вот этот на тебя похож. — Я ткнул пальцем в фото на развороте пластинки. — Ты?
- Нет, это Джерри Гарсия, — улыбнулся Лёня. И вдруг спросил: — Петь, а тебе сколько лет уже? Одиннадцать, двенадцать?
- Четырнадцать, — пришлось мне сказать. Я почувствовал, как щеки теплеют. Вот кто его за язык тянул, а? Получается, меня опять за малолетку приняли. Не кто-нибудь, а друг, можно сказать.
- Как время-то летит, — покачал головой Лёня. — Такой большой уже! А вроде недавно мама твоя замуж выходила.
- Ты помнишь?
- Конечно! Пир устроили...

- Ты был?
- Конечно, мы тогда дружили все. Я, мама твоя, папа, Аркадий... Как он, кстати?
- Да ничего, живет у жены.
- Хорошо ему, — усмехнулся Лёня. — Наверное. Слушай, а тебе девочки уже нравятся?
- Ну... — Я снова покраснел.
- Конечно, нравятся, — улыбнулся он. — Кто-нибудь в классе?
- Я кивнул. Блин, вот откуда он все знает?
- Молодец! Ладно, давай я тебе Джона Ли Хукера поставлю.
- Кого?
- Блюзмен великий.

Иголка бесшумно опустилась на медленно вращающееся виниловое поле. Никаких щелчков, легкое шипение. И вдруг — разболтанная гитара, голос дрожащий и резкий, как наждак.

— Вот, — тихо сказал Лёня. — Истоки. Весь твой любимый рок из блюза вырос!

Может, подумал я, и вырос. Некоторые мотивы — прям рок-н-ролл настоящий. Но рок как-то поаккуратнее, что ли.

— “I love the way you walk”, — говорю, — это про чего это он?

— Про любовь, понятно дело. Весь блюз про любовь, тоску и одиночество. — А ты здорово слова на слух ловишь!

— Наверное... — Я облизнул сухие губы. Приятно, черт возьми. Рискну высказать собственное мнение: — Но мне музон чо-то не очень. Не забойный. Не просекаю.

— Вырастешь — просечешь, — улыбнулся Лёня.

Никогда я это нытье не просеку, подумал я.

— Лёнь. А вот что музыка дает человеку? Ну, кроме радости?

— Ну ты и спросил! Радости что, мало?

— Да предки достают: музыка твоя дурацкая, ничего не дает...

— А, вон что, — вздохнул Лёня. — Музыка дает... понимаешь, смотря что слушать и как.

Он провел вниз-вверх ладонью по голове, от макушки к шее и обратно. Волосы как торчали торчком, так и остались.

— Музыка утончает чувства.

— Чего? — не понял я.

— Ну... Меломан не может быть циником, по-простому если.

Я кивнул. Нормальное объяснение. Не вижу связи, не очень понимаю, кто такой циник, но звучит хорошо. Меломан не может быть циником — верну при случае.





– Конечно. Куда денешься-то.

Лама приложила мне ладонь на грудь. Я посмотрел на ее руку. Ногти чуть выходят за пальцы. Не покрашены, но это взрослые руки, женские. Лицу моему вдруг стало совсем жарко, хотя мы вроде все растанцевались уже до пара из ушей. Нда... непонятно, от чего это у меня. А вот, кстати, у Коровы пальчики до сих пор детские, даже когда ногти ее полукруглые вдавленные намазаны модной ядовитой краской.

Тут "I'm still loving youuu" провыли «Скорпы» наконец, и Лама меня отпустила. Я взлетел на подоконник обратно. Потом спрыгнул и пошел танцевать быстрые. Больше мы в этот вечер с Ламой не разговаривали. Чернышков валандался от одной компашки к другой, потом засел в углу и, кажется, так в нем и растворился.

Чернышкова все быт. Недели не проходит без того, чтоб он не сидел в углу и не размазывал слезы и сопли по красным щекам. При том он-то как раз не мелкий, он среднего роста и упитанный. Но быт его не какие-то там старшие страшные хулиганы, а одноклассники, двое из которых ему в пупок дышат.

А почему, за что – фиг знает.

Просто такой он, Чернышков – такой же нелепый, как буква «к» в его фамилии. Что-то лишнее в человеке. И чего-то не хватает. Лишнее – что он возбуждает и вырубается. Не хватает – собственного достоинства. Он у нас с третьего класса, до того был в какой-то спецшколе, где что-то ему корректировали, типа речь и внимание. На вид вроде нормальный. Хотя волосы слипшиеся по жизни. Не длинные, но и не подстриженные. И слипшиеся. Сразу его не приняли. Ну не приняли и не приняли, пересиди четыре урока и иди домой и с пацанами во дворе тусоваться. Но он принялся отстаивать свое место в коллективе. А в школе это самое последнее дело, потому что сразу обращаешь на себя внимание. Ну вот он и обратил. Мало не покажется. Даже непонятно, чем, – ну подумаешь, сказал кому-то что-то когда-то. Не вовремя. Не тому. И сам такой бледный, потный, волосы эти... Сказал – был послан. Ну и ладно. Сам пошли в ответ. Или забей вообще. Но он подошел ко мне – почему-то – и говорит: знаешь, я б ему сейчас накостылял бы, но у меня брюки новые, не хочу мять. Угу, говорю, брюки новые, забавно. У всех от мастики коленки желтые, а ты, типа, свои бережешь. Звонок. На уроке я расшептал соседу по парте, чо мне Черный прогнал. И на следующей прям перемене Чернышкова уже метелили вовсю. Потом это стало ритуалом.

Недели не проходит после очередного его валанданья по грязно-оранжевому паркету в школьном коридоре, несколько дней он молчит, насупившись, как бык, потом начинает с кем-то заговаривать о каких-то мелочах, типа, чего задали, дай списать, типа, контакт налаживает человеческий, но потом снова чего-нибудь сказанет. Не тому, не о том и не к месту.

\* \* \*

Лёнь, ты это, спрашивал, нравится ли мне девчонка... девушка какая-нибудь, – начал я.

Он нахмурился:

– Не хочешь – не говори. Я это так, к слову пришлось.

– Да нет, хочу, но...

– Тогда говори, не мычи.

– Так я не знаю, что сказать!

– Тогда молчи.

Во, блин, логика. Мужская. И то верно. Я вздохнул. Ну правда – о чувствах либо говори, если это для тебя важно, либо молчи. Не вопрос этикета тут.

– Она мне нравится, короче. Одноклассница моя. Лама.

– Редкое имя.

– Это прозвище. Так она Наташа.

Лёня улыбнулся:

– Фантазия у вас.

– А я не понимаю, нравлюсь ей или как.

– Спроси.

– Боюсь.

– Не бойсь. Пригласи в кино – и спроси.

– Так просто?

– Ну а чего усложнять-то?

Когда я выходил от него, то дверь напротив, дверь нашей квартиры то есть, тоже открылась, и оттуда вышла моя мама с клетчатой сумкой, в магазин чтоб ходить за жратвой.

– Ань, – сказал Лёня. – Петька-то твой песни чуть не на слух переводит.

– Ну так есть в кого! – воскликнула мать. И порозовела слегка. И добавила тише: – Лучше б он математику учил.

– У него репетитор?

– По математике?

– По английскому.

– Да нет, сам как-то.

– Ну здорово, в иняз пойдет.

– И учителем станет? Да нет, не надо такого. Да и куда ему... Хотя посмотрим.

- Ань, ты знаешь чего? Ты заходи в гости. На кофе. Сварю, как ты любишь.
- Я не пью кофе. У меня гипертония.
- А когда-то любила. С коньяком и сигареточкой... Петь, заткни уши!
- Я улыбнулся.
- Мало ли чего любила, – вздохнула мать. – Молодость, Левонид, прошла!
- Да что ты говоришь, – улыбнулся Лёня.
- Чего уж теперь говорить-то. – Мать покачала головой. – Ладно, Левонид, Петька-то тебе не надоел?
- Мы друзья.
- Гони, когда надоест!
- Когда друзья надоедают – их надо гнать? Интересное кредо у моей мамы.

\* \* \*

На следующей неделе уже совсем тепло, май, и на физре мы ничего не сдавали, но отпустить нас физрук просто так тоже не имеет права – дальше два урока еще, ну и в принципе никого не отпускают, даже если сдавать нечего. Физрук сказал: берите снаряды спортивные в кладовке, играйте во что хотите. «КВГ», добавил он, кто вот что горазд.

Все, конечно, в футбол. А я не люблю. Я попросил теннисную ракетку и мячик. Помешан на теннисе – ходил стучать об стенку у дома культуры «Каучук». Ракетки старые дома нашел – отец их не забрал (у него сейчас наверняка какие-нибудь фирменные, «хэдовские» или какие там еще есть импортные). Я не любил спорт, способностей к нему не имел никаких – мелкий и дохлый, именно что, – но тогда была целая туса великих теннисистов, которые к тому же выглядели как рок-звезды: волосатые, в шетине, темных очках, со всякими плейбойскими замашками по жизни...

Стучу я, значит, об стенку физкультурного зала нашего, чувствую – кто-то в спину смотрит. Ловлю мячик, поднимаю его – как профи: ракеткой прижал к ступне, резко рванул вверх, ударил сверху, поймал левой рукой – оборачиваюсь. Чернышков.

- Чо, говорю, в футбол не гоняешь?
- Да пошли они – играть не умеют, токо подножки ставят, уроды.

Понятно: выгнали. Небось задел кого-то и начал выеживаться на тему куда прешь, чем бьешь, щас тебе покажу и так далее. С ним, конечно, связываться не захотели – жаль время от футбола отрывать, – и просто послали. У него, понятно, все всегда виноваты.

- Хошь, говорю, постучать? – Мне плевать, у меня хорошее настроение.
- Давай.
- Сейчас облажается, думаю.
- Щас-щас, меня учили...
- Конечно: хватает ракетку неправильно, держит книзу головой и как черпаком бьет об мячик.
- Не, Черный, – говорю, – так удара сильного не будет. Техника неправильная.
- Да техника – это фигня все! Щас как размахнусь – улетит мяч на фиг! Это тебе, конечно, тяжело нормально ударить – ты ж маленький, слабенький...
- Ладно, бей. После звонка, – прервал я его, – сдашь ракетку и мячик физруку.

И пошел в раздевалку. Все равно звонок скоро. А я уже потный, как конь. Хотя куда мне – конь же большой, сильный... Кстати, надо не забыть передать капитану футбольной команды, Вовчику Жирному, слова Черного про не умеющих играть уродов. А то вроде не рыдал он на этой неделе, Чернышков-то.

\* \* \*

Бегать я начал летом в деревне, после того как случайно посмотрел по телику интервью одного теннисиста, который рассказал, что был маленьким и дохлым и с соплями вечными, но однажды начал ни с того ни с сего бегать по утрам и делать зарядку. Ему, конечно, круто было бегать – у них там в Нью-Йорке парк здоровенный. У нас в Лужниках поменьше. А в деревне зато простор, хоть оббегайся. Я и начал. Утречком. Как проснусь. Все равно встаешь там рано. И – вниз по косогору, потому вдоль берега Оки, потом обратно. В гору. Потом действительно жрать хочется – а раньше в меня овсянка или манка не лезла, хоть ты сколько туда варенья вбухай.

Бабушка вначале удивилась, потом решила, что все равно мне быстро надоест моя причуда, как вообще все мне всегда надоедает, потому что я несобранный и так далее... потом привыкла. Да, так теперь на завтрак я сжевывал и тарелку овсянки, и два яйца крутых. Вот к этому бабушка не сразу привыкла, к аппетиту такому, но потом как будто так всегда и было. Потом я себе еще турник повесил между деревьями. Стачил какой-то толстенный железный прут в колхозе на машинном дворе, навесил просто на ветки, алюминиевой проволокой замотал (у нас тут у всех «городьба» из алюминиевой проволоки).

Когда домой приехал 30 августа, мать сказала, меня не узнает, расцеловала в щеки, оставив мокрые блестящие следы, и потащила рост измерять. Я прибавил... я глазам поверить не мог! В прошлом году с таким ростом стоял бы на физре в середине строя, так что в этом... Да, но сейчас не прошлый год.

На следующий день я по привычке рано проснулся, стал собираться на пробежку, а где у нас бегать – не сразу сообразил. Но потом придумал. Вокруг двора сперва, потом дальше, по улицам.

В школе снова оказался в конце строя, но не настолько мельче предпоследнего. А тот ненамного меньше среднего Чернышкова.

Осенью мама сказала: надень хоть носочки шерстяные. Это, говорю, для слабаков. Ну да, согласилась она, ты теперь у меня крепкий. Не простудишься. И действительно – зимой вообще не болел. Впервые за пятнадцать лет жизни. Так и бегал до весны.

Весной на очередной физре опять сдавали подтягивания.

- Хорошев, – назвал меня физрук. – Давай на перекладину. Герой, штаны с дырой.
- Где? – Я оглянулся на свою попу. Все заржали. Цирка ждут.

Я подошел к шведской стенке. На высоте метров двух с половиной – треугольная «ферма», перекладина. Обычно я вставал на вторую снизу ступеньку, но сейчас просто подпрыгнул, сразу крепко ухватил холод перекладины. Медленно подтягиваюсь. Раз. Еще. Еще. Рывок. Потом еще рывок. Тишина. Еще. Сколько-то... Уже тяжело. Уф. Интересно, на зачет сгодится?

Я разжал руки.

Пружинный скрип пола.

- Хорошев, – сказал недоверчиво физрук. – Ну это, пять.

Я кивнул, как будто так и надо. Сердце заходится.

Пошел период зачетов. Через неделю бегали на короткие. Я их провалил, получил тройка еле-еле, что меня, в общем, не очень удивило, но все-таки как-то неприятно задело: что, получается, просто так бегал?

На следующем уроке бежали на длинную. Это, типа, шесть кругов вокруг школы. Я пришел четвертым, что ли. Первым Вовка Жирный, но у него ноги длинные, ему бежать как ходить. А я еще когда финишировал, смотрю, трое всего тусуются, на финише-то. Добежавшие. Где остальные-то? А бегут еще. И действительно – всем как минимум еще один круг.

Физрук всех нас с секундомером отмечал, кто за сколько дистанцию осилил. На следующем занятии

вызвал меня на середину зала и велел всем рассказывать, как я вдруг стал таким спортивным (это он так сказал). Ну как, говорю, зарядка.

– С гантелями?

– Ага. Легкими. Отжимания. И душ ледяной.

Чего я буду все рассказывать-то – я ж не тренер. Но если хотят, как я, то пусть ледяной водой обливаются.

Физрук кивнул:

- Молодец, Петр. Иди в строй.

В строй после меня уже двое стоят. Прогресс.

Чернышков в раздевалке мне сказал, что я хоть и занимаюсь этой своей физкультурой, но все равно меня побить всякий может. Не может, говорю, я не дерусь, я пацифист.

Тут, кстати, вспомнилось, что Чернышков на днях что-то такое сказанул, что теперь вот прямо точно – наезд на Жирного! Ну я и говорю, Вован, ты на Черного не обращай внимания – он фигню всякую говорит, забей болт.

- Чо говорит? – прищурился Жирный.

- Всем пока, – сказал Чернышков, схватил свою сумку из коричневого дерматина с трафаретным хоккеистом на борту и быстро-быстро вышел в коридор. Последний урок.

- А, ты не зна-аешь... – Я покачал головой с притворным сочувствием, а потом гаденько-веселым тоном посоветовал: – Ну тогда тем более забей!

- Иди сюда! – крикнул Жирный, распахнув дверь. Мы уже все переоделись, Жирный просто традиционно тормозил. – Лана, за базар ответишь! – И захлопнул дверь.

\* \* \*

Детское слово «огонек» с прошлого года не употребляем. Говорим: вечеринка.

Эту вечеринку даже особенно пробивать не пришлось, и так всем было ясно, что какой-то праздник нужен. Классная даже сказала, типа, делайте свой огонек, только чтоб без эксцессов. Любят учителя такие слова, жесткие, неживые, лязгающие, словно ножницы.

Квинтэссенция (тоже учительское словечко): девушки, накрашенные так, что в темноте светятся, надушенные сладким, цветные лосины, каблуки по метру. В основном жутковато это все, как мне показалось. Но – волнует. Может, аллергия на духи, не знаю.

Вовка Жирный притащил какой-то ликер, который давал всем отхлебнуть незаметно. Мне тоже предложил с усмешкой. А чо, говорю, легко. И от-

пил. На секунду горло обожгло, но тепло внутри осталось. И как-то легко стало и радостно. Я даже танцевать пошел – быстрые, которые не люблю и не умею. А тут прям самому понравилось. Пляшешь, подмигиваешь барышням, они тебе улыбаются, всем хорошо.

- Ты двигаешься – умора, – сказала мне Лама.
- Ты сама жаловалась, что мальчики не танцуют.
- Но ты за всех выступил, герой! Пошли курить.
- Пошли.

Сигареты у Оксанки. Она иногда за школой брала чью-нибудь сигарету «на пару тяг», но я не знал, что она уже со своими.

Мы все раскурили на крыльце. А что, сегодня не просекут учителя, даже если просекут – сегодня без палева. Время ж не учебное.

У меня от танцев и свежего воздуха голова закружилась приятно. Курить не рискну. Еще не пробова, а закашляться от первой затяжки – это ж не круто. Потом как-нибудь. Потренировавшись.

А Оксанка меня спрашивает:

- Чо, Пит, не куришь?
- Неа, – говорю. – Не нравится мне.
- Или боишься, что не вырастешь?

Мальчики обычно девочкам говорят «у тебя дети зеленые будут», но я не люблю известные шуточки. Придумал свою:

- Боюсь, но не настолько, насколько ты боишься еще больше разжиреть.

И захохотал. Кто-то усмехнулся. Встретился с Ламой взглядом. Она сквозь зубы прошипела:

- Ты офигел такое говорить, блин...

Оксанка протянула кому-то сигарету:

- Добейте кто-нибудь, я... – Она резко вздохнула. – Я пошла.
- Окса! – Лама ринулась за ней следом.

Мы с остальными курильщиками остались докурить и потереть. Эпизод с Оксанкой быстро выветрился. Вернулись в класс, я стал высматривать Ламу в темной толпе танцующих под что-то отвлечительно-отечественное, вроде «Фристайла». Заметил ее в углу почему-то. Одна сидит, прикрыв глаза, увидел я, поближе подойдя. Тут музыка заткнулась наконец-то для перемены кассеты. Обычно у нас два магнитофона: с одного слушаем, на другом перематываем. Прям диджейский пульт. Только с лентой.

- Наташ...

Она открыла глаза.

- Пойдем потанцуем.

Кассета включилась, но – фальстарт, не с самого начала песни, еще пять секунд на перемотку.

Я дотронулся до ее запястья, тонкого и в темноте особенно молочно-белого. Она отдернула руку.

- Не пойду я. Устала. И ты ж танцевать не умеешь.
- Ну да, гм, но если медленный...
- Фиг тебе. Я устала. Еще кого-нить пригласи, герой.
- Да и ладно, – чуть не крикнул я. – Да на фиг нужна вечеринка эта ваша... «огонек», блин.

«Ваш». Я-то как раз один из тех, кто всегда активно «огоньки» продавливал.

Ладно, все равно домой пора. Выпили, поплясали, хорош уже. Еще, правда, восьми нет, а раньше девяти нас не выгонят. Но все равно. Иду на принцип.

И ушел, как тогда говорили, по-английски.

Решил перед домом заскочить к Лёне (кстати, вдруг у него какой-нибудь ликерчик есть прикольный?).

- Лёнь, – сказал я ему с порога, – выпить есть?
- Ты чего это? – Его брови полезли вверх, сморщив бледный лоб в гармошку.
- Да так, настроение. Коньячку не накапаешь?
- Так, заходи.

В квартире у него мне стало жарко. Лицо горит. И дышать трудно. Из стоваттных динамиков тихо пищал какой-то колючий блюз с завываниями губной гармошки.

- Кто играет, Лёнь?
- Мадди Уотерс, но об этом позже. Ты чего это, нажраться решил, что ль?
- Не, говорю, я меру знаю. – Я вдруг икнул.
- Понятно. Сейчас тебе чайку заварю. Покрепше.
- Не, ну какой, блин, ч-чай, йик...
- Индийский. Краснодарского не держим. А то мать тебя такого выдерет ремнем.
- Н-не выдерет, я взз-росс-лый...
- Угу, заметил.

Лёня ушел на кухню. Я попытался вслушаться в Мадди этого Уотера или как там его и постучать ногой по паркету в такт. Типа, мне нравится. Стянул свою белую водолазку с горлом, забыв, что под ней старая майка-алкоголичка.

- Оголяешься? Правильно! – Лёня вошел, держа в руке гигантскую дымящуюся кружку.
- Лёнь, – спросил я, отхлебнув, – а вот если девочка с тобой то вежливая, то грубая, это что значит?
- Ну как минимум равнодушна. Но вообще что угодно. Женщины, понимаешь ли!
- Понимаю, – кивнул я.

Он снова усмехнулся:

- Хорошо, если понимаешь.
- Лёнь, – я поглядел на него, – а ты чо не женат?
- А зачем? – Он поморщился. То ли вопрос бес-  
тактный, то ли тема надоела. Или не понрави-  
лось, что я вдруг начал что-то такое испыты-  
вать?
- Все ж женятся.
- Угу. А потом разводятся. Ни себе ни людям в итоге.
- Что ни себе? Ты про кого?
- Про вообще. Короче, на ком я хотел жениться, та  
за меня не пошла.
- А другая?
- А на другой не хотел. А вообще рано тебе о таких  
вещах думать. К счастью для тебя. Живи и радуй-  
ся. Еще наешься всего этого.
- Порадуешься тут, когда «банан» по химии в чет-  
верти маячит.
- Это не самая большая проблема в жизни. – Он  
кашлянул. – Хотя, конечно, ничего хорошего.  
Если ты, допустим, на химфак собираешься.
- Не на химфак.
- Тогда успокойся. Ты не debil, и трояк тебе уж  
как-нибудь нарисуют. Никому не нужны выпуск-  
ники с годовыми двойками.
- Фиг их знает – они вредные такие, учителя наши.
- Не настолько, насколько ты думаешь. Всех вол-  
нует личное благополучие, а не чужие проблемы.
- Лёнь, а «неравнодушна» – это, скорее, хорошо  
или, скорее, плохо?
- Это – шанс! От любви до ненависти, как гово-  
рится...

«Чифирек» Лёнин меня правда как-то в чувство привел. Мать ничего не просекла. Я сразу лег, но долго ворочался. Голова болела. Раз пять вста- вал попить из-под крана холодной. Стук в висках не унимался. Думал про Ламу и ее на меня наез- ды. Герой и все такое. А чего она от меня ждет-то? Чего вообще они от нас ждут? Девочки от парней, в смысле? Что мы будем эдакие рыцари? А сами-то они кто, блин, дамы, красавицы? Всему свое время, правильно Лёня говорит. Да, вы не красавицы, мы не герои, вы – губы красите, мы – матом кроем... Вы одеваете... нет, обуваете... нет, *надеваете!* мамыны босоножки, мы же не вышли ни ростом, ни рожами... Ладно, сойдет для начала. Поэма о девушках деся- того бэ. Ее б прочитать на Восьмое марта. Валяев бы прочитал круто, у него бас, а кривые рифмы мои никто не заметит.

Утром я вспомнил стишок и покраснел. С Ламой не разговаривал до одиннадцатого класса, когда все уже давно забылось.

\* \* \*

Лёня уехал в Ленинград. Ленинград тогда же пе- реименовали в Санкт-Петербург. Там, в Питере, он прижился. Я окончил школу, институт, пошел рабо- тать и так далее. А блюз так и не полюбил.



# ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА



ДАРЬЯ ПРОТОПОПОВА  
Родилась в Москве. Окончила РГГУ, кандидат филологических наук (МГУ), обладатель докторской степени по английской литературе Оксфордского университета. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии Gordon Duff Prize за работу о переводах Л.Н. Толстого

(2008). Автор книги о роли русской литературы в творчестве Вирджинии Вулф: *Virginia Woolf's Portraits of Russian Writers: Creating the Literary Other* (2019). Победитель конкурса «Путь в литературу» Союза писателей Москвы (2018).

## Часть I

Фей Фей (или, как называли ее западные друзья, Афина, что совершенно не шло к ее миловидному восточному лицу) встала непривычно рано. Обычно на работу ей было к двенадцати: она работала кассиром в супермаркете, с надеждой на повышение до младшего ассистента менеджера. Глупая была надежда, подумала Фей Фей, проснувшись. Надеются на что-то хорошее, а ассистент менеджера в заурывном Теско – благо весьма относительное. Когда работаешь кассиром, можно хотя бы иметь гибкий график: она всегда выбирала поздние смены, с полудня до восьми вечера, и наслаждалась ленью по утрам. Зарплаты хватало на одежду из Примарка, встречи с друзьями в недорогих барах и даже – один раз в год – неделю отдыха на Майорке. На всю эту роскошь зарплаты кассира не хватило бы, если бы Фей Фей снимала какую-нибудь комнатенку на самой окраине Лондона, деля крышу, кухню и ванную с пятью такими же неприкаянными, но снимать жилплощадь ей не приходилось. После гибели старшего брата в аварии (не буду об этом вспоминать хотя бы сегодня утром, подумала Фей Фей) она решила остаться жить с убитыми горем родителями. Дочернее великодушие не замедлило обернуться ей боком. Немного придя в себя после гибели сына (или, возможно, «заморозив» инстинктивно часть

своего сознания), родители Фей Фей переложили свои амбиции на уцелевшего ребенка и принялись попрекать ее при каждой встрече на кухне – к ней в спальню они не поднимались – в отсутствие честолубия.

– Мы приехали в эту страну ни с чем, даже языка не знали! – покрикивал отец семейства Куонг Ханг. – Смогли открыть ресторан, работали там с утра и до поздней ночи, чтобы тебя с братом на ноги поставить, у всех наших друзей из Гонконга дети уже врачи, инженеры, на худой конец, бухгалтеры. А ты? В память о брате могла бы поднатужиться! Он бы мог стать известным пианистом, выступать сейчас в Королевском Альберт-холле...

На несколько секунд мистер Ханг замолкал, замечтавшись о будущем сына, несостоявшемся, а потому – бесспорно блестящем. Очнувшись, он устало добавлял:

– Хотя на курсы какие-нибудь пошла бы, бухгалтером стала. А то на кассе сидишь, семью позоришь.

Фей Фей поначалу хотелось ответить не менее резким монологом о том, что родительскую вонючую забегающую она в кошмарных снах видит, насиделась там у прилавка в детстве, и что врачом-терапевтом в Англии каждый бомж может стать, парацетамол старухам выписывать, а на хирургов готовиться ни у кого из ее друзей не хватило на самом деле ни денег, ни терпения. Иногда ей хо-



Он приносил с собой  
нераспроданные остатки  
ароматных карри,  
лепешки наан, начиненные  
миндальной крошкой,  
печеные пирамидки  
самоса, пахнущие  
сельдереем.

телось еще прокричать сквозь слезы, прямо в лицо отцу, разве семья опозорилась не тогда, когда братец пьяным за руль сел и хлопнул себя так, что тело опознали только после медэкспертизы? Однако в последний момент она вдыхала, выдыхала и уходила к себе. К чему со стариками спорить? А злости на их несправедливые упреки («а может, отчасти, справедливые?», грызло у нее в сознании) не накапливалось достаточно, чтобы вылить ее на словах. Отсутствие амбиций – неизбежный спутник мягкотелости, мысленно подытоживала Фей Фей уже у себя в спальне, натягивая наушники и погружаясь в музыку азиатских бой-бендов – единственный источник китайского, который ее не раздражал.

Фей Фей спустилась на нижний этаж, прошла на кухню, насыпала себе в пиалу овсяных хлопьев, залила их молоком и начала неохотно есть. Завтракать рано утром, как и все совы, она не любила, но сделала над собой усилие: неизвестно сколько продлится это собеседование на работу, может быть, ее вообще попросят остаться на целый день. Невольно вспомнился брат, для неких китайцев Эндрю, для своих – Чун Хоу. Он любил вставать рано, шумно собирался в свой музыкальный колледж, хлопал дверями, отчего у них с Фей Фей происходили постоянные стычки. Однажды уставшая просыпаться ни свет ни заря Фей Фей не вытерпела и подлила в корни любимца Эндрю дерева-бонсай перекись водорода. Она думала, что раствор обожжет корневую систему и карликовое дерево зачахнет, а оно, наоборот, вдруг пустило новые листья после долгого периода отсутствия каких-либо признаков роста. Эндрю долго ходил радостный, всем рассказывал,

как его любят растения, и Фей Фей тогда начала думать, как отомстить ему наверняка. А потом он погиб...

«Блин, я же настроилась не думать о нем сегодня!»; Фей Фей трянула хвостом длинных, черных, прямых, как бамбуковые стебли, волос. Но не думать об Эндрю на кухне было невозможно: холодильник пестрел выцветшими фотографиями его и сестры. Несмотря на то что со времени его гибели прошло два года, убирать их с глаз долой скорбящие родители, конечно же, не собирались. Кстати, его китайским именем, Чун Хоу, Эндрю никто не называл, кроме родственников в Гонконге. Даже родителям он виделся западным мальчиком, эдаким европейским принцем, призванным свыше к выполнению великой таинственной миссии. Как и его сестра, Эндрю рос тихим кухмистерским ребенком, помогал чистить овощи, лущить креветок, принимать заказы по телефону. Таких, как он и Фей Фей, называли в Великобритании *takeaway kids*: в 1980-е целое поколение детей выросло в ресторанах еды навынос, открытых иммигрантами из Азии. Поначалу мистер Ханг-старший отвечал на звонки, но англичане не понимали его акцента, и на помощь все чаще стал приходиться Эндрю, чей английский нельзя было отличить от речи коренных бледнолицых лондонцев. Мистер Ханг и его супруга отдавали последние деньги на уроки музыки для детей – неперенный символ успешной семьи для китайцев-экспатов. Афина терпеть не могла фортепиано: она с трудом запоминала ноты и завидовала Эндрю, который схватывал музыку на лету. Он все схватывал на лету, даже смерть, подумалось Фей Фей. Может быть, и к лучшему, что такие мысли приходят по утрам. Все эти сказки о том, как родственники погибших стремятся забыть о самом страшном, – это просто чушь. Наоборот, вспомнишь все самое болезненное с утра – и потом уже можно не бояться, что это всплывет где-нибудь в полдень, подкатит к горлу за обедом или, еще хуже, во время разговора с начальством. Пусть сердце сожмется от боли за завтраком, потом к вечеру хоть немного отпустит.

Кстати, об обеде. Наверное, лучше захватить с собой какой-нибудь еды, детский сад – это не супермаркет, где кассир может найти себе пропитание, не отходя, так сказать, от станка. Наверняка другие воспитатели носят с собой какие-нибудь дурацкие сэндвичи с сыром и ветчиной. Фей Фей открыла семейный холодильник: он, как всегда, был забит остатками нераспроданной еды. Тосты из креветок с кунжутом, рис, обжаренный с яйцом, холодные свиные ребрышки – вот закуска победи-



телей. Когда Фей Фей училась в школе, она всегда ела в стороне от остальных детей, на пару с мальчиком-индусом, чьи родители тоже держали небольшой ресторан. Он приносил с собой нераспроданные остатки ароматных карри, лепешки наан, начиненные миндальной крошкой, печенье пирамидки самоса, пахнущие сельдереем. Его и Фей Фей дразнили вонючками, и хотя на обидчиков можно было пожаловаться и хорошенько протащить их по статье о расизме, Фей Фей даже дома об этих нападениях никому не рассказывала, пытаясь быть выше них. Потом большинство обидчиков ушли из школы при первой же возможности, сдав экзамены о неполном среднем образовании; Фей Фей и еще кучка ребят остались доучиваться для поступления в университет. Фей Фей хотела стать учительницей математики, ходила на занятия по детской психологии, игровым технологиям, теории образования. Но после гибели брата учиться расхотелось, и так Фей Фей оказалась на бирже труда. Должность кассира была первой, которую ей предложили. В ее супермаркете все остальные кассиры оказались, как и следовало было ожидать на западной окраине Лондона, индусами, поэтому она продолжала ощущать себя чужой. Но потом привыкла и стала ходить на работу даже с радостью, горделиво кивая, когда какой-нибудь нерасторопный англичанин, пугливо извиняясь, просил ее подождать и отбежал от кассы за забытым хлебом или помидорами. Если бы не родители, она была бы готова проработать кассиром до старости лет.

За неделю до описываемого дня мистер Ханг положил перед Фей Фей за ее завтраком (по его представлениям – ранним обедом) смятую распечатку страницы из британско-китайской интернет-газеты.

– Вот, посмотри, – сказал он, по-стариковски тыча пальцем в обведенный шариковой ручкой кусок текста, – приглашают на работу воспитателей в детсад. Знание китайского обязательно. Наконец-то эти англичане поняли, что будущее за Азией!

Когда дочь меланхолично продолжила жевать свои овсяные хлопья, даже не ухватившись, как он рассчитывал, за заветный листок, мистер Ханг добавил:

– После этого списывать все на расизм у тебя уже не получится. Под лежащий камень вода не течет.

И ушел на ресторанный кухню, дальше чинить постоянно ломавшуюся фритюрницу. На самом деле Фей Фей самой хотелось поскорее прочитать объявление, так как она не могла поверить, что вдруг в английском детском саду захотят препода-

вателей именно со знанием китайского. Но она сдержалась и взяла листок в руки, только когда отец начал греметь инструментами за дверью. Объявление действительно гласило: «Мультилингвальный детский сад “Новый мир” приглашает воспитателей со знанием мандаринского китайского. Минимальные требования: полное среднее образование, опыт работы с детьми. Успешный кандидат должен будет пройти проверку в Бюро уголовных дел, согласно Закону о работниках, имеющих дело с детьми и уязвимыми взрослыми». Опыт работы с детьми и сертификат из БУДа у Фей Фей уже имелись: поскольку она собиралась поступать в педагогический, ей пришлось волонтерить в местной начальной школе, где все волонтеры автоматически проходили проверку на наличие криминального прошлого. Учителя в школе были либо белые британцы, либо британцы афрокарибского происхождения: выходцы из Азии явно не стремились реализовывать свои карьерные амбиции на неблагодарной ниве школьной педагогики. Но Фей Фей не унывала: математика не знает цвета кожи, повторяла она, прочитав книгу Марго Ли Шеттерли о чернокожих женщинах-математиках, работавших в 1960-х годах в НАСА. Вдохновленная книгой, она провела беспечные две недели, помогая детям младшего школьного возраста решать задачки и учиться читать по слогам. Однажды в школе проводили утро открытых дверей, и те родители, кому не надо было идти на работу, хлынули в классные комнаты почитать вместе со своими детьми. Одна из гостей, белая англичанка, приняла Фей Фей за молодую мать, а когда выяснилось, что к чему, спросила:

– А что, в Гонконге трудно найти работу в школе?

Эндрю тогда еще утешал («да она, наверное, реально хотела проявить свой божественный интерес к чужим культурам!»), но для Фей Фей тот эпизод стал первой каплей.

Фей Фей утратила половину нераспроданного риса со свиной в пластиковый контейнер и уложила свой обед с привычной методичностью в маленькую термосумку. Выходить было еще рано, и она снова замерла в задумчивости. Может быть, не надо было принимать бездумно брошенную фразу какой-то мамы близко к сердцу? Мало ли что люди могут брякнуть, иной раз даже, как заметил Эндрю, из добрых побуждений. Но была же и вторая капля. Когда Фей Фей пришла в педагогический на день открытых дверей, молодой человек, стоявший перед ней в очереди за буклетами, обернулся, по-

смотрел на нее пристально и спросил, с типичной для выпускника частной школы идеальной дикцией:

– Погодите минуточку, дайте угадаю... Вы поступаете на курс учителей математики.

Когда Фей Фей, смутившись, ничего не ответила, он пригнулся к ее миниатюрной фигуре и притворным полупешотом затараторил дальше:

– Ну и слава богу, Британии как нации уже никак не обойтись без помощи Китая, особенно в математике. Сам я в школе, кроме Шекспира и Баха, ничего не мог запомнить. Но нельзя же стране выехать на одной музыке. Вот спросите меня, сколько будет шесть на семь – ни за что не сообщу. Ну, мне пора! Кончива!

И он ушел, похлопывая по ляжке буклетами, уверенный в собственной непревзойденности. Впрочем, были в человеческой массе и нормальные люди. Пожалуй, их было даже большинство. Но эффект, производимый отдельно взятыми субъектами, имел обидную силу незаживающего пореза. После второй капли Фей Фей расхотелось преподавать математику. После смерти Эндрю, к счастью (неужели ей в самом деле так подумалось?), можно было уже ничего не объяснять, а просто забрать документы из педагогического.

Пора бежать. Вернее, бежать было не обязательно: автобусы в центр Лондона ходили по Uxbridge Road бесперебойно, с интервалом не более пяти минут, и в это раннее время пробки случались редко. Однако, выйдя из дома, Фей Фей уже не могла идти спокойно: сказывались годы беготни вприпрыжку за юркой миссис Ханг на уроки музыки и на занятия китайским по субботам. Даже когда Фей Фей уже начала ходить в среднюю школу самостоятельно (правда, чаще всего в сопровождении брата), на внешкольные занятия мать отказывалась отпускать ее одну. Она и в Теско была бы не прочь ее провожать, но Фей Фей убедила мать, что прямой автобус от дома до места работы является сравнительно безопасным способом передвижения – даже в Лондоне, даже при растущей с каждым годом поножовщине среди бела дня. О вождении машины она – по понятным причинам – не заикалась.

Автобус подъехал сразу: приятное совпадение, которое Фей Фей сразу расценила как добрую примету. Миссис Ханг, кладезь древних восточных суеверий, раздражала дочь постоянными присказками по поводу несчастливой цифры «4» и мандаринов, приносящих богатство; Фей Фей не верила в эти «бредни», но переняла манеру матери видеть в мелочах тайный смысл, особенно когда будущее

нервировало ее своей неизвестностью. Поднявшись в автобусе на второй этаж, она с удовлетворением села на свое любимое место – на передний ряд, как на нос корабля. Улица виделась с этой верхотуры далекой массой тротуаров, витрин и уже спешащих там и сям людей – за всем этим можно было теперь спокойно наблюдать, мерно покачиваясь вместе с автобусом. Часть маршрута до детского сада, где проводилось собеседование, совпадала с дорогой, которую Фей Фей проделывала каждый день – на том же автобусе – по пути на работу в Теско. По обеим сторонам автобусного лобового стекла мелькала привычная смесь польских продуктовых магазинов, халяльных мясных лавок, английских букмекерских, еще закрытых в этот ранний час, аптек с выпирающими над ними зелеными крестами, зарешеченных даже в часы работы ломбардов и, конечно, супермаркетов всех размеров и мастей. Было бы, конечно, неплохо подняться над всем этим морально и социально, получив работу в сфере образования, подумалось Фей Фей. «Не смогут же они на меня косо посмотреть в этот раз, когда они сами написали, что им требуются носители китайского языка. Будет смешно, если на этот раз им не понравится, что я недостаточно хорошо знаю язык моих родителей. Впрочем, кто там сможет проверить? Не пригласят же они на собеседование со мной какого-нибудь коренного жителя Китая?»

Фей Фей заранее проверила профили сотрудников на сайте детсада. Про воспитателей там ничего не было написано, а вот про владельцев нашлось немного. Основала детский сад «Новый мир» еще в середине 1990-х годов английская семейная пара Джун и Ларри Томпсон; в 2012 году они ушли на пенсию, и главным менеджером детсада стала их единственная дочь Тиффани. В том же 2012 году сад перешел на метод Марии Монтессори, названный в честь создательницы известной программы раннего детского развития. Про метод Монтессори Фей Фей знала из занятий по психологии. Их преподаватель прозвал его «учением о застегивании пуговиц». Мария Монтессори, итальянка, скончавшаяся в 1950 году, верила, что главная задача детского сада – обучить ребенка самостоятельности в повседневных вещах – так, чтобы ребенок ощутил себя полноценной личностью. Отсюда в методике Монтессори шел акцент не на чтение и счет, а на практические занятия, типа мытья настоящей посуды настоящим мылом, забивание гвоздиков, открывание и закрывание баночек и коробочек, игру с заклепками, шнурками, молниями и, конечно же, пуговицами, пришитыми на одежду, растянутую на специ-

Фей Фей взяла одну  
игрушку – куколку  
с желтыми волосами  
из ниток и глазками-  
бусинками – и надела  
ее на палец. Сразу  
захотелось этим пальцем  
подвигать, заставить  
куклу согнуться,  
повертеться, поплясать,  
но в эту минуту вошла  
другая воспитательница.

альных рамках. Наиболее шокирующим элементом метода Монтессори была для Фей Фей игра с грязью, призванная разнообразить детский сенсорный опыт. Когда пластилин и песок надоел, гласила методика Монтессори, дайте ребенку покопаться в настоящей земле, смешать ее самостоятельно с водой, с тем, чтобы малыш понял причинно-следственную связь сухое + вода = мокрое и липкое. Когда Фей Фей узнала об этой игре, ей сразу представилась реакция ее матери на подобные сенсорные эксперименты – крик, подзатыльник и строгий запрет трогать землю руками. Впрочем, удивляться не приходилось: многое, что еще недавно считалось вредным, ученые начали объявлять полезным, и наоборот, например, стало запретным плодом загорание на солнце без защитного крема – процесс, которым миссис Ханг продолжала наслаждаться жаркими летними днями у себя в палисаднике.

Автобус миновал Теско, в котором еще номинально работала Фей Фей (она не стала никому говорить на работе, что идет на собеседование, просто взяла отгул), и поехал дальше в сторону центра. Скоро, помимо лавчонок и магазинчиков этнических меньшинств (Фей Фей всегда коробила эта формулировка, даже когда ее собственная принадлежность к «этническому меньшинству» гарантировала ей участие во всяких социальных опросах), начали попадаться пабы с традиционны-

ми английскими названиями типа «Принцесса Виктория» и «Бегущая лошадь» – знак приближения к черте оседлости английского среднего класса. По обеим сторонам дороги теперь тянулись сплошные, так называемые террасные, особняки, поделенные на квартирки, ибо даже английский средний класс не всегда мог позволить себе все четыре этажа и подвальный уровень – классическая викторианская планировка. Наконец на табло высветилась нужная остановка – St Luke's Church – Церковь святого Луки. По телефону Фей Фей сказали, что детсад располагался сразу за церковью, но она не сразу сообразила, что остроугольное сооружение из красного кирпича с металлической балкой, рассекающей здание посередине, могло быть объектом религиозного культа. Однако яркая голубая табличка на стене уверяла, что это здание, более похожее на крематорий, чем на храм, принадлежит англиканской епархии Западного Лондона. Фей Фей обошла церковь вдоль ее высоких глухих стен (как туда вообще свет попадает, подумалось ей) и сразу поняла, что не ошиблась адресом: из-за решетчатого забора, завешенного для безопасности зеленой маскировочной сеткой, доносился детский гам и громкие (но не злые) окрики воспитателей. Фей Фей немного помедлила – она пришла на полчаса раньше, чем нужно, – но, увидев направленную на нее камеру наблюдения, решила нажать на кнопку звонка.

Приветливая девушка-воспитатель с легким испанским акцентом провела Фей Фей в офис менеджера. – Подождите, пожалуйста, здесь, мисс Тиффани скоро подойдет, она проводит занятие в старшей группе.

И она оставила Фей Фей в крохотной комнатке, одну стену которой занимал календарь-планировщик на весь год, а другую – детские художества в виде листов бумаги с пятнами краски и наклеенными на них помпончиками, конфетти и разной другой развивающей детское воображение мишурой. Сквозь открытое по случаю теплой сентябрьской погоды окно виднелась асимметричная крыша Церкви святого Луки. На столе, три четверти которого занимали компьютер и принтер, стояла коробка, доверху заполненная пальчиковыми игрушками – миниатюрными вязаными лисичками, зайчиками, мышками, фетровыми слонятами и поросятами, героями сказок и просто человечками. Фей Фей взяла одну игрушку – куколку с желтыми волосами из ниток и глазками-бусинками – и надела ее на палец. Сразу захотелось этим пальцем подвигать, заставить куклу согнуться, повер-

теться, поплясать, но в эту минуту вошла другая воспитательница. Фей Фей почему-то испугалась и спрятала куклу в кулаке. Вошедшая девушка ничего ей не сказала, даже не улыбнулась, а быстро отскерила какую-то картинку и вышла. Стерва, подумала Фей Фей, стянула куклу с пальца и положила ее обратно в коробку. Через несколько минут в офис вошла высокая, полноватая блондинка в очках, пиджаке и брюках-стретч и энергично протянула руку Фей Фей.

– Доброе утро, доброе утро, – зашебетала она с несколько приторной нотой, как это часто делают люди, работающие с детьми и не всегда успевающие переключиться на взрослую манеру разговора. – Вы, должно быть, Фей Фей? Я правильно выговариваю ваше имя? А что оно значит? «То, как ты его произнесла, означает “бабуин”, но если произнести его нормально, оно означает “прекрасная”», – подумалось Фей Фей.

– Оно означает «красивая», – проговорила она в итоге. И заставила себя посмотреть Тиффани в глаза и улыбнуться.

– Как это мило, – продолжала щебетать Тиффани, но уже немного менее приторно, постепенно возвращаясь в роль офисного работника. – Меня зовут Тиффани, здесь все зовут меня мисс Тиффани, а если вы будете у нас работать, вас будут звать мисс Фей Фей: имена детям все-таки легче выговаривать, чем фамилии. Хотя, конечно, сейчас в Англии у детей бывают такие имена, что даже я не сразу с ними справляюсь. У нас есть мальчик из бенгальской семьи, его зовут Чандрадхара, что по-бенгальски означает «звезда», но мы с его родителями условились, что в школе его будут звать Чарли. Ха-ха!

Далее последовали неизбежные вопросы из ряда «Расскажите немного о себе» и «Почему, по вашему мнению, из вас получится хороший воспитатель детского сада». Фей Фей они напоминали колючий репейник, сквозь который приходилось грациозно продираться: не из врожденной способности расхваливать себя, а из-за боязни проколоться и неловко сморщиться, как воздушный шарик. Ей пришлось рассказать о своем волонтерстве в начальной школе, вспомнить пару примеров занятий, которые она лично провела с детьми. В памяти всплыли замки из втулок от туалетной бумаги и цветы из одноразовых картонных тарелок. В середину тарелки, выкрашенной в желтый цвет, приклеивалась белая бумажная капсула для капкейков – и получался традиционный вестник английской весны, нарцисс.

– Ой-ой! – Тиффани замахала с притворным ужасом руками. – Можете забыть про эти вечные втулки, аппликации, бесконечное копание в пластилине! Наши дети учатся жить в настоящем, а не придуманном мире. Куда полезнее вместо пластилина копаться в настоящем тесте, наполняя им настоящие формочки для кексов. Вот и китайский мы решили добавить в нашу программу потому, что в настоящем мире без китайского скоро уже будет никуда не деться. Это я говорю как комплимент великой и трудолюбивой китайской нации! – поспешила добавить она и улыбнулась обоими рядами длинных белых зубов.

Фей Фей заставила себя улыбнуться в ответ («эти обнаженные зубы мне неплохо даются», пронеслось у нее в голове). Поймав ожидаемую улыбку, Тиффани продолжила:

– Главной причиной, по которой мы хотим ввести китайский для наших малышей, является, конечно, быстрый рост числа носителей китайского языка среди наших клиентов. В основном это успешные китайские бизнесмены, осевшие в Лондоне. Они мечтают, чтобы их дети овладели их родным языком.

Фей Фей стало немного страшно. По-китайски она, по мнению ее родителей, говорила с английским акцентом, читать традиционные иероглифы могла лишь отчасти – разве что похвастаться безупречным знанием китайского меню перед этими успешными бизнесменами?

– Мои родители из Гонконга, – сказала она, притворяясь немного оскорбленной. – В нашей семье мы говорим на путунхуа, или, как его принято называть здесь (и она чуть не сделала небрежный жест рукой в сторону окна), – мандаринском китайском.

– Вот-вот, как раз то, что нам нужно – мандаринский! – обрадовалась Тиффани, успевшая на секунду округлить глаза при упоминании незнакомого ей путунхуа. – Знаете ли вы детские песни на мандаринском? Типа английской колыбельной про звездочку?

К счастью, именно китайский перевод английской колыбельной про звездочку Фей Фей и запомнила, еще со времен субботней китайской школы, но не стала сознаваться в скудности своего репертуара, переведя разговор на китайскую каллиграфию. Тиффани осталась в восторге. В конце недели, не найдя, наверное, большого количества желающих менять подгузники и вытирать сопливые носы с перерывом на китайские песни, она позвонила Фей Фей и поздравила ее с новой работой.

## Часть II

Странное, однако, ощущение: всю жизнь стремишься слиться с большинством, пытаешься говорить на нарочито разговорном английском со сленгом, как заправский житель лондонских трущоб, чтобы потом тебя взяли на работу в силу твоей принадлежности к этническому меньшинству. Все школьные годы Фей Фей скрывала о своих родителях, не хотела рассказывать учителям, а тем более одноклассникам, о том, чем они занимаются, терпела шутки о своих обедах в стиле китайского бистро. И тут ее просят рассказывать о своих предках-иммигрантах потенциальным клиентам детсада: мол, это повышает ее «аутентичность» как китаянки. Миссис Ханг не могла нарадоваться, когда Фей Фей однажды спросила ее, нет ли у них дома каких-нибудь традиционных китайских украшений, типа красных фонариков с бахромой. На следующий день миссис Ханг вернулась из оптового китайского магазина с целым ворохом: новогодними свитками из красной бумаги чуньянь, декоративными деньгами гуйцянь, вышитыми подвесками с пожеланиями благополучия, фигурками драконов и тигров. Все это Фей Фей преподнесла, немного стеснясь, Тиффани: та расхвалила дарительницу на утренней летучке и велела освободить один из детских стеллажей специально для «объектов китайской культуры». С условием, что «детки будут с ними свободно играть, развивая свои тактильные ощущения». Фей Фей сначала хотела возразить – как никак, бумажные обереги, хрупкие и заряженные взрослой символикой, недолго протянут в шаловливых детских руках, – но потом решила плыть по течению. Так к концу своего первого месяца на новой работе она заняла в иерархии воспитателей детсада почетное место специалиста по экзотическому и экономическому востребованному Китаю.

## Часть III

Франческу Тиффани сразу невзлюбила. Была ли причиной этому ее худоба, о которой Тиффани мечтала, несмотря на своих многочисленных (но не очень постоянных) поклонников? Или волосы, очень удачно окрашенные в модную черно-белую гамму, благодаря которой довольно невзрачная француженка выглядела как известная поп-певица? Или ее хобби, которое она гордо обозначила в своем резюме: честное слово, кто о таком вообще пишет – танцы с обручами? Тиффани, прочитав резюме Франчески, забила в поисковую строку не-

привычное слово «хупинг» – и с удивлением узнала о существовании студий, обучающих взрослых и детей вертеть пластиковыми кольцами. Со времен детства Тиффани обручи стали еще более привлекательными: они переливались всеми цветами фольги и неона и даже светились изнутри. Тиффани даже потянуло записаться на пробный урок, но она представила себя вертящей обруч обтянутыми лайкрой бедрами и передумала. «Пусть француженка покрутит у нас в детсаду на дне спорта – не надо будет приглашать аниматора со стороны», – домовито рассудила она и наняла Франческу вести французский (а заодно, раз в неделю, и спорт) для малышей. Ведь за последние два года, вместе с ростом числа обеспеченных семей, в Лондоне открылись новые детсады – сплошь сады Монтессори, билингвальные с французским языком, сады-студии, детские досуговые клубы, арт-ясли и тому подобные усовершенствованные инкубаторы. Чтобы выгодно отличаться от конкурентов, уроков китайского с Фей Фей, по мнению Тиффани, стало не хватать. Фотографии черно-белой Франчески и счастливых карапузов, увлеченно играющих под ее руководством, могли послужить отличной свежей заставкой на сайте детского сада «Новый мир».

## Часть IV

Наступила осень, вторая с момента поступления Фей Фей на новую работу. Постепенно забылись длинные вечера за кассой: автобус проскакивал мимо Теско, но Фей Фей даже не вспоминала об унылом супермаркете. Теперь ее голова была занята детьми в саду – их характерами, капризами, предпочтениями в играх и еде, именами их привередливых и дотошных родителей. По дороге на работу, глядя в запотевшее окно автобуса, она уже видела перед собой, вместо лавчонок и магазинов, знакомые глаза. Вот, например, трехлетний Зейн. Его родители, испанка и турок-мусульманин – очень красивая пара – решили, что Зейну легко даются языки. В результате они попросили Тиффани добавить в пестрый набор звуков, уже и так лопотавших вокруг их черноглазого мальчика, китайский – на случай, если Зейн захочет развивать бизнес в Китае, когда вырастет. Подобная дальновидность смешила Фей Фей, но Зейн ей нравился: в отличие от других детей, слушавших китайские песенки молча и насупленно, он старательно подпевал и быстро запоминал новые слова. Кто знает, подумала Фей Фей однажды, может, Зейн действительно пойдет по стопам отца, откроет автомобильный салон где-



нибудь в Гонконге и женится на китайке. И будут у него дети – граждане мира, генетический калейдоскоп. Как и полагается, собственно, в двадцать первом веке. Замечтавшись, Фей Фей чуть не пропустила свою автобусную остановку.

– Доброе утро, – сказала она, входя в классную комнату, неестественно тихую в этот ранний час.

Игрушки аккуратно покоились на полках, на полу ничего не валялось. Фей Фей не раз ловила себя на мысли, что сад ей нравился больше всего, когда в нем не было шумной оравы детей.

Франческа сидела, как обычно, на детском стульчике (и как она на нем помещается?) у стола посередине комнаты и что-то внимательно разглядывала на своем планшете. На приветствие Фей Фей она не ответила, но в ее ушах были наушники, и на этот раз Фей Фей обижаться не стала. Хотя вообще-то манера француженки пренебрегать простыми правилами вежливости раздражала. Китайцы тоже не особо улыбчивый народ, друг перед другом не расшаркиваются, но за годы подражания англичанам Фей Фей уже привыкла говорить всем при встрече неизменное «хау а ю» и улыбаться. Особенно широкой улыбкой она приветствовала Тиффани, а узнав о том, что у Тиффани есть обожаемая собака-нюфаундленд, Фей Фей стала осведомляться и том, как поживает ее «малютка». Франческу все эти тонкости этикета и кадровой политики не интересовали. Она никому не улыбалась, в учительской гардеробной, не стесняясь, раздевалась до белья, облачаясь после работы в пестрые лосины и майки, потом убегала, не попрощавшись, на занятия хупингом. Она подружилась с воспитательницами-испанками, потому что в детстве жила в Испании: как удалось узнать Фей Фей, у Франчески обнаружился бойфренд-диджей, родом из Голландии, и Франческа периодически ездила на его рейвы в разные города Европы. Каким образом эту «обкуренную» француженку занесло в английский детский сад, Фей Фей понять не могла. Но Тиффани неоднократно воспевала успех Франчески и ее номеров с обручами на днях открытых дверей («Франческа – главный хит “Нового мира”», – восклицала она), и Фей Фей оставалось только хлопать вместе со всеми.

В восемь часов утра все собрались на утреннюю летучку. Летучки проходили в комнате для старших детей перед старым пианино, на котором раз в неделю мать Тиффани миссис Томпсон проводила для своих бывших подопечных уроки музыки. Фей Фей пыталась на нем играть, но не смогла, к своей огромной досаде: слишком много времени прошло

с ее занятий фортепиано. Она подумывала возобновить уроки, но пока не решалась, боясь спровоцировать оханья родителей об утраченном виртуозе Эндрю.

– Всем доброго понедельника! – поприветствовала свою команду из восьми воспитательниц Тиффани.

Девушки расположились кто на чем: большинство на круглом, в виде голубого с зеленым земного шара, паласе, Франческа осталась на своем стульчике. Фей Фей решила было постоять, облокотившись на подоконник (места на паласе не хватило), но ей не хотелось смотреть на Тиффани сверху вниз, и в итоге она уселась рядом с остальными на маленькую табуретку в форме грибочка.

Тиффани продолжила летучку обычным объявлением количества детей, ожидаемых в тот день; было несколько заболевших, поэтому одну из воспитательниц старшей группы решили «перекинуть» в младшую, где всегда находилось чем помочь: одни подгузники и бесконечные переодевания описавшихся детей в сухую одежду могли занять одного из воспитателей на целый день. Фей Фей вела занятия китайским в обеих группах, но была прикреплена к младшей. Помимо собственно занятий китайским, она помогала там другим воспитательницам, сопровождала индивидуальные игры по методу Монтессори, подавала завтрак и обеды. С Франческой она пересекалась один раз в день, когда та приходила к малышам проводить урок французского после их дневного сна.

Дальше все было как в тумане, похожем на тот, который застилал в то холодное ноябрьское утро лондонские улицы. Фей Фей, как обычно, провела свой урок в небольшом закутке за стеллажами. Зейн и его друзья послушно подпели китайским песенкам, посчитали на китайском до десяти, поиграли в игрушечную кухню. Фей Фей всегда возмущали разговоры о необходимости обучения детей домашним делам, особенно в области кухни: польза от этих занятий, по ее мнению, была сомнительная. Фей Фей считала (но, конечно, не признавалась в этом Тиффани), что домашние дела настигнут человека рано или поздно, так почему же к ним надо привыкать, когда в этом нет жизненной необходимости? Малыши не подозревали о ее наболевших фобиях и продолжали увлеченно мешать сухие макароны в миниатюрных кастрюльках и приправлять ракушки, разложенные по тарелкам, пластмассовыми овощами.

После урока Фей Фей отпустила детей в свободное плавание по классной комнате. До второго завтрака оставалось десять минут. Вернулись в ком-

«Правила должны быть одинаковыми для всех, другим детям тоже запрещено разгуливать в масках, когда им этого хочется!» – воскликнула она и повела оторопевшего от слова «нет» Александра в «младшую» комнату разбираться.

нату с улицы те малыши, чья очередь была играть утром на свежем воздухе. Стало шумно. Воспитательницы, которых, помимо Фей Фей, оставалось в комнате три (одна англичанка, помощница менеджера, и две испанки), с трудом успевали следить за норовящими ударить, толкнуть, укусить – обычный утренний зоопарк. В комнату вошла Франческа, ведя за руку орущего мальчика из старшей группы. В общем гаме их никто не заметил, кроме Фей Фей, и потом, в их появлении не было ничего особенного: старших детей часто приводили в «младшую» комнату для разговора или просто так, превентивно, чтобы переключить их расшалившийся мозг сменой обстановки. Франческа присела на корточки поговорить с раскрасневшимся мальчиком, который к тому моменту уже почти не стоял на ногах, а упираясь, висел на ее руке. Александр (не Саша, родители настаивали на том, чтобы его звали полным именем) был сыном богатого английского бизнесмена и красавицы украинки. Его капризы уже никого не удивляли, да и сам Александр начал понемногу менять свое поведение к лучшему, осознав, что в детсаду, в отличие от его дома, он далеко не пуп земли. Но в то утро ситуация немного вышла из-под контроля. Александр отказался снять маску Человека-паука, так полюбившуюся ему за время празднования Хеллоуина. Франческа, на чьем уроке Александр должен был присутствовать после завтрака, взялась отобрать эту маску у мальчика. «Правила должны быть одинаковыми для всех, другим детям тоже запрещено разгуливать в масках, когда им

этого хочется!» – воскликнула она и повела оторопевшего от слова «нет» Александра в «младшую» комнату разбираться. Разобраться в общем шуме у нее не получилось, и она вывела Александра в коридор, а оттуда в туалет, отделенный от коридора маятниковыми дверьми, висевшими над полом на уровне колен. Фей Фей в это время проходила по коридору на кухню и хорошо слышала, как Франческа урезонивала малыша. Не повышая голоса, французенка рассказывала ему о том, как другие малыши обижаются и пугаются, если их друг вдруг начинает ходить в маске, да еще такой страшной, с прорезями для глаз и дыркой для рта. «Ведь они не знают, что это Саша, не видят ни его глазок, ни его кудряшек!» – приговаривала Франческа. «Вот коза, – подумалось Фей Фей, – а сама потом рассуждает о том, какой этот Александр гадкий, избалованный ребенок». Она вернулась в класс, оставив Александра наедине с французенкой.

Наедине! Вдруг Фей Фей осенило. Сейчас или никогда! Это был ее единственный шанс снова стать гордостью Тиффани – вторым помощником менеджера, главным рекламным пунктом детсада «Новый мир». Никаких больше шоу с обручами: только умиротворяющие уроки китайского, наиболее распространенного языка в мире. Отпросившись в туалет у старшей по комнате, она постучалась в офис к Тиффани. Франчески и Александра уже не было в туалете: мальчик, по-видимому, успел успокоиться и вернуться в класс. Но все равно, с детьми нельзя оставаться наедине, это правило знает каждый учитель. Войдя в роль обеспокоенной коллеги, Фей Фей шагнула в офис и плотно закрыла за собой дверь.

Разговор с Тиффани не занял у нее и пяти минут. Ей понадобилось лишь произнести слова «защита прав ребенка» и «что подумают о нас в УПСО?» (Управление по стандартам образования, Ofsted), как Тиффани побледнела и пошла звать свою помощницу для консилиума. Вдвоем они подробно расспросили Фей Фей о том, что именно она видела; Фей Фей с видимым сожалением рассказала, что Александр упирался, не хотел никуда идти и что Франческа буквально выволокла его в туалет. Кричала ли она на него? Нет, не кричала. Говорила ли она ему слова, унижающие достоинство ребенка? Нет, не говорила. А где сейчас Александр? Втроем они вышли из офиса и подошли к двери в «старшую» комнату. Через окошки в дверях было видно, как Александр спокойно играл на ковре с другими детьми. Следов стресса на его недавно залитом слезами лице не было видно.



– Но вдруг он пожалуется матери о том, как мисс Франческа отвела его в туалет? – заметила Фей Фей.

Тиффани посмотрела на помощницу.

– А что если кто-то из воспитательниц напишет анонимный донос? – заметила та, глядя в упор на Фей Фей.

Фей Фей потупила глаза и прошептала:

– Я даже не знаю, что сказать, я за детсад волнуюсь, а вы...

– Ну ладно, ладно, – поспешила загладить углы Тиффани, – здесь, к сожалению, ничего не поделаешь, придется Франческу отстранить от должности незамедлительно, так гласят правила УПСО. Фей Фей, вы можете вернуться в класс. Эмили, попросите Франческу зайти ко мне в офис.

Через десять минут Фей Фей видела, как заплаканная Франческа прошла через «младшую» комнату в учительскую раздевалку, вышла оттуда в пальто и со своими вещами и, не попрощавшись ни с кем, покинула детсад, как Фей Фей и рассчитывала, навсегда. С правилами обращения с детьми в образовательных учреждениях не шутят. На следующий день на планерке Тиффани напомнила о важности этих правил, особенно о запрете насильно вести детей за руку куда-либо, если только речь не идет о жизни и смерти, как, например, во время прогулки вдоль проезжей части. Несколько воспитательниц попытались заступиться за Франческу, начали вспоминать, как дети любили ее уроки и как быстро успокаивались после бесед с ней, но Тиффани прервала их на полуслове и строжайше запретила какие-либо увещательные разговоры с детьми в туалете, даже если двери там не достают до пола и разговоры за ними не подходят под категорию «наедине». Строго говоря, не подходят, а в УПСО не будут разбираться про строго и не строго: просто придут с инспекцией, а зачем нам это нужно, рассуждала потом Тиффани в разговоре с матерью. «Ты все правильно сделала, дорогая, – успокаивала ее миссис Томпсон. – От этих французов всего можно ожидать. И потом я слышала, что в детсадах сейчас растет мода на арабский язык. Попробуй найти кого-нибудь преподавать малышам арабский на несколько часов – от клиентов не будет отбоя».

А Фей Фей в тот вечер гордо рассказывала родителям о том, как ее вот-вот сделают помощницей менеджера, а там и до старшей воспитательницы – рукой подать. В тот же вечер, засыпая, она вдруг вспомнила о брате – в первый раз за день – и ужаснулась, а потом стыдливо обрадовалась: значило ли это, что его призрак отпускал (или покидал?) ее?

Она не знала, радоваться ли этой свободе или жалеть о том, что брат начал уходить в прошлое. Радоваться, решила она в итоге: давно пора уже было перевернуть страницу. Нельзя же все время жить в чьей-то тени.

В декабре того года «Новый мир» стал первым детсадом на западе Лондона с уроками на арабском языке. Новая учительница, мисс Амна, родом из Саудовской Аравии, выиграла лондонский конкурс на звание лучшего учителя иностранных языков, и уже в январе ее назначили старшей воспитательницей в комнате для малышей. Фей Фей, не выдержав конкуренции с энергичной арабкой, вернулась работать обратно в Теско. О Франческе ничего не было известно, но спустя несколько лет Тиффани совершенно неожиданно увидела ее сидящей с сигаретой в зубах за столиком шумного кафе в центре Амстердама. На Франческе были все те же пестрые лосины, но от бело-черных волос не осталось и следа: на их месте красовались голубые войлочные дреды, усыпанные бусинами.



# КОНЕЦ РОМАНА



ЮЛИЯ АРСЕНЬЕВА  
Родилась в Вологде. Окончила политехнический институт. Работала учителем математики, редактором и ведущей информационной программы на вологодском ТВ. Затем с друзьями создали первый в Вологде медийный холдинг «Премьер», где 17 лет занималась радиовещанием.

В это утро Иветт была очень взволнованна. Она вертела в руках маленький раскладной карманный календарик и с нетерпением ждала момент, когда сможет вклиниться в наш галдеж.

— Это подарил мне мой первый жених. Мне тогда было 14, ему 19. Его звали Франсис Рудьер.

Мы замерли, а я привычно навестила уши, чувствуя сюжет.

— О, мне тогда он казался совсем взрослым. Он уже успел побывать на войне и был ранен. Но в нашем госпитале он был потому, что у него нашли болезнь легких. Как это называется?

— Туберкулез?

— Да, туберкулез, и с ним мало кто общался. Мне было его так жаль! Он был совсем один, такой печальный и такой красивый, такой красивый! Мы стали встречаться, поцеловались всего один раз. Он был в госпитале три года, а потом уехал. На прощание он подарил мне этот крошечный календарик. Это реклама парикмахерской, где он работал до войны. Франсис был хорошим парикмахером.

— А что потом?

— Потом? Ничего. Мы больше никогда не встречались, но я часто о нем думала. Очень часто...

Иветт потеряла календарик в ладонях и загадочно улыбнулась. Это было еще не все!

Вчера ее подруга Сильви нашла Франсиса

в Ля-Рошели. Иветт говорит, что Сильви надо работать сыщиком, потому что она найдет кого угодно, что угодно и где угодно.

Умница подруга нашла его номер в телефонной книге, позвонила и поинтересовалась у взявшего трубку мужчины, дома ли мадам Рудьер.

К сожалению, мадам уже несколько лет была в лучшем мире. Франсис жил один.

Мы бросились терзать рассказчицу вопросами. Поедет ли она к нему? Иветт пожала плечами.

— Не знаю. Прошло больше 50 лет. Узнает ли он меня? Все эти годы я о нем думала, но я не знаю, думал ли он обо мне хоть иногда. Не будет ли это выглядеть как-то неприлично? И, кроме того, что я ему скажу?

Я прекрасно знала, что ей сказать, и уже мысленно дописывала финальную сцену моего грандиозного романа.

«Он открыл дверь и сразу узнал ее. Женщина протянула маленький раскладной карманный календарик с рекламой парикмахерской, в которой он работал до войны в Алжире:

— Здравствуй, Франсис. Мне очень нужна хорошая стрижка!»

# ЧАПА

Чапугу мы нашли в лютые вологодские холода. Она лежала в снегу среди бетонных плит, оставшихся от строительства памятника космонавту Беляеву, и готовилась замерзнуть.

Скорее всего, в тот вечер мы провожали гостей после папиного дня рождения, потому что сначала прошли в одну сторону и только заметили собачку, а на обратном пути уже забрали ее с собой.

Жили мы в коммуналке, и обзавестись животным было как-то бестактно с нашей стороны. Поэтому рано утром мама выпустила отогревшуюся псинку на улицу в надежде, что она убежит, но Чапа пописала и вернулась обратно.

Потом мы не раз видели, как она сама открывала тяжелую подъездную дверь: хваталась зубами за планку одной половины, упиралась лапкой в другую, делала рывок на себя, а потом стремительно бросалась в образовавшуюся щель.

Соседи не возражали, собачка осталась в нашей квартире и получила имя Чапа за громкое клцанье когтями об пол.

Чапа была папиным дружочком и вечным поделником в ночном жоре и дневном сне. Они сворачивались клубком на тахте и похрапывали в одном регистре.

Папа всегда говорил, что в прошлой жизни Чапа точно была человеком. Она понимала речь, даже когда не видела лица говорящего.

Когда папа садился за фортепьяно, Чапа приставалась у ног и пела с ним «Скоро осень, за окнами август».

Она пользовалась большой популярностью у дворовых кабысдохов, особенно в период течки. У подъезда ее всегда ожидала группа лохматых товарищей.

В это трудное для всей семьи время папа брал Чапу на поводок и мазал белые шерстяные «штаньки-галифе» вонючим керосином, что позволяло держать кобелей на почтительном расстоянии.

Но однажды, влекомая зовом природы, Чапа вырвалась у меня из рук и убежала. Мама пошла ее искать.

На левом запястье у меня остались длинные розовые полосы от ее коготков. Я потом долго царапывала руку снова и снова в надежде, что это поможет вернуть Чапку.

Спустя много-много лет мама призналась, что Чапа погибла. Ее сбила машина прямо на маминых глазах.

Мама подобрала и похоронила Чапулю сразу же, рядом с местом трагедии, на стройке гостиницы «Спасская».

Недавно я встретила нашу Чапу в хорватском городе Пула.

Ха, она всегда умела открывать двери. Наверняка так было и в этот раз: Чапа схватилась зубами за планку, рванула врата на себя и проскочила в щель между ногами зазевавшегося Петра!

Я позвала. Собака твякнула, потом подошла и доверчиво положила голову на запястье моей левой руки.

# БАШМАКИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОЖДЯМИ И ШЛЯПА



ЮЛИЯ НАЗАНОВА

Родилась в 1985 году. Живет в Москве. Окончила исторический факультет МГУ. Училась в Creative Writing School. Публиковалась в электронном журнале «Идиотъ» и на портале «Литература».

1

Я помню, что развлечений было не так уж много. Брошенный тир, гигантский тополь, идущие мимо товарные поезда. Мы считали вагоны с нефтью и бревнами, падали с дерева, воображали мишени среди зарослей лопухов. Но чаще всего мы слонялись – не гуляли, не ходили к знакомым, не шли по делам, которых у нас, конечно, не было, а именно слонялись. Наша соседка из второй квартиры Эгле, старше нас лет на десять, командовала «бабы, за мной!», и начинался стотысячный обход поселка. Выходя со двора, решали – налево – и тащились по обочине в сторону старого кладбища и Барсуковой горы.

Жаркая погода держалась несколько дней. Мы влочили ноги, взбивая сухую придорожную пыль и превращая ее в серое облако. Выслушивали последние новости. Эгле рассказывала, кто был в костеле, кто не был, кто растит астры и гладиолусы на продажу, а у кого внук попал в исправительное учреждение. Еще прибыл новый доктор из города. Он поселился в деревянном доме с остроконечной крышей, гигантским яблоневым садом и двумя подъездными дорожками. На одной из них теперь стоял его мотоцикл.

Городской доктор. Занял целый дом. И прямо рядом с нами. Захватил сад. Наверняка уже начал важничать. Вот так история. Дальше мы слушали вполуха. И даже перестали поднимать пыль. Теперь мы

то и дело отлучались с обочины в придорожную канаву, где по пояс в метелках, которые вытягивают, чтобы сгрызть нежно-зеленый внутренний стебель, искали сюрприз для чужака. Наконец нашли – припорошенные землей, сгинувшие пару сезонов назад, распадающиеся на части башмаки.

Эгле смеялась и говорила «ой, не могу», а для нас дело было серьезным. У нас наконец была мишень. Мы подкрались к дому врача, на улице никого не было, перепрыгнули через железную калитку, пригнувшись, проскользнули к отдыхавшему в тени мотоциклу и водрузили на его коляску грязную, одереженевшую пару обуви. А потом бежали не оглядываясь – прямо до нашего двора, бросив прихрамывающую подругу. Влетели с разбегу на второй этаж. И то ли день был слишком жаркий, то ли мы слишком пыльные и возбужденные, но дед объявил поход на озеро.

Еще событие, и все в один день! Мы снова шли по делу – теперь из двора направо: переходили железнодорожный переезд, миновали развилку, оставляли слева костел, справа моленную. Потом было три горы с приклеенными коровами на склонах и зарастающими песчаными колеями. С последнего холма бежали – под ним начиналось озеро, словно аккуратно вырезанное по береговой линии из фольги, сиявшей на солнце.

Мы переодевались, прыгали в воду, доплывали до цветущих белых лилий и желтых кувшинок. Нырjali



разбирать открытки учеников – бабушка и дедушка бывшие учителя, перебирать старые фотографии, нюхать дедовы сигареты в баре, мечтать о том, чтобы вырасти и начать курить «Клайпеду». Дожди в Литве идут несколько суток подряд. Когда дождь кончится, будет день, дед возьмет нас в библиотеку, в лес или снова на озеро.

Спасибо, заведующий дождями. Твоя мишень – серый двухэтажный дом по Тильжанской улице. В нем два подъезда, четыре балкона и восемь квартир. Не промахнись.

### 3

Точно так же не должна промахнуться моя па-  
мять. Потому что тем летом я нашла свою шляпу. И потому что в подъезде лестниц было две. Одна –  
наверх, к свету. Другая – вниз, в темноту.

К свету мы поднимались по много раз за день – по-  
пить, поесть, занести библиотечную книгу, передать  
собранные ягоды в железной эмалированной круж-  
ке – на дне крупная клубника и крыжовник, сверху  
завиток красной смородины. Вечером дневной свет  
подъезда сменялся электрическим. И мы летели на  
него, как непутевые, беспокойные мотыльки, – най-  
ти кофту, взять бидон в кладовке, обуться. Потом  
возвращались с молоком и уже навсегда. Сидели на  
кухне и смотрели на поселок, переживший еще один  
день. Поселок состоял из сумеречных клумб, сараев,  
огородов, нового района и светящихся прямоуголь-  
ников окон – у тех, кто тоже не спал.

Вторая лестница всегда была темной. Справа был  
выключатель – весь в побелке или в крошках осы-  
павшегося раствора. Он зажигал хилую лампочку  
внизу за поворотом, которая не справлялась с тем-  
нотой, скорее, чуть-чуть ее растворяла. Загорит-  
ся – и, если никто не видит, можно спускаться, хотя  
вообще-то не по себе. Одна ступенька, две, три,  
ноги чувствуют шершавый холод бетона. Он кажется  
потусторонним после раскаленного двора с пятном  
пузырящейся на солнце смолы... Последняя ступень-  
ка, поворот, провал коридора с деревянными ящи-  
ками и облезлыми дверями. Подвалы! Мы проверяем  
каждую дверь, все – заперты...

Даже в свой подвал мы можем попасть только  
в сопровождении деда. Только когда бабушка нет  
дома. «И где вашу бабушку черти носят», – говорит  
дед и берет ключ. Откуда? Тут есть разногласия –  
я точно помню, что ключ лежал в деревянном ста-  
кане, расписанном под хохлому, а стакан стоял на  
холодильнике. Другие полностью уверены, что ключ  
хранился в крайнем ящике трюмо, а трюмо стояло

в коридоре. В любом случае мы с ключом спускались  
со второго этажа на первый, а потом по той самой  
лестнице. С дедом мы имели на это полное право.  
И чуть растворенная темнота переставала быть та-  
кой уж опасной.

Дед открывал дверь нашего подвала. Зажигал еще  
одну слабосильную лампочку. Мы входили и попа-  
дали в окружение, в плен старой жизни. Тут были  
ракетки от бадминтона, прошлогодние спущенные  
мячи, потрескавшиеся и вышедшие из моды сум-  
ки, побитые жизнью кувшины и тазы, связки шах-  
матных журналов, среди них – полинявшие вырез-  
ки из «Книжного обозрения», ящик с прорашенной  
картошкой. Все это было в пыли, причем не мягкой  
квартирной и слегка серой, а в более грубой и ощу-  
тимой пыли, с примесью чего-то строительного.  
И в паутине. В полу была дыра, в ней уже несколько  
месяцев стояла весенняя вода. Сырой запах делал-  
ся резче.

Мы всегда спускались в подвал за чем-то – за  
банкой соленых огурцов или варенья. Но нас меньше  
всего интересовали запасы. Дед никогда не спешил  
и давал нам время осмотреться, уйти наверх с добы-  
чей. В результате из подвала в квартиру перекаче-  
вали губная гармошка, глобус, старорежимные пла-  
тья. Бабушка презирала подвальные тряпки – из-за  
сырого, затхлого запаха, который невозможно было  
истребить. Два цветных платья «как у взрослых»  
из блестящего материала пришлось вернуть. Зато  
я оставила себе шляпу, найденную где-то на треть-  
ей полке между ракеткой и клубничным вареньем.

С шляпой я провела самое счастливое лето. Шля-  
па из прозрачной ленты с вкраплениями зеленого  
и оранжевого была остроконечной, с довольно ши-  
рокими полями. Я надевала ее во двор и в лес, хо-  
дила в шляпе в новый район и за молоком. Шляпа  
ночевала рядом с моим диваном. Наконец у меня по-  
явился уникальный предмет гардероба. Это была не  
новая китайская рубашка, которую я иногда проси-  
ла у Бога в костеле, нет, это была моя собственная  
шляпа, а шляп ни у кого больше не было.

Через пару недель шляпа начала распускаться –  
лента разматывалась, поля становились уже, шляпа  
превратилась в колпак, а потом начала исчезать.  
В конце концов осталась только прозрачная тесьма  
с чем-то оранжевым и зеленым.

Я храню память о подвальной шляпе. И когда ду-  
маю о доме, где мы жили летом, темная лестница ка-  
жется важнее светлой. Когда-то она нарушала оди-  
наковое течение дней и в конце концов оказалась  
честнее: квартира давно продана, подвал брошен,  
а я брожу с фонарем в темноте воспоминаний.





| Юность № 7  
| Июль 2020

| Тема номера:  
| Воспоминания

# ПОЭЗИЯ



АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ  
Родился в 1976 году. Живет в Нижнем Новгороде. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Член Союза журналистов РФ. Публиковал стихи и прозу в сетевых изданиях «Полутона», «Этажи», «Артикуляция», «45-я параллель» и «Литература», в альманахе «Новый Гильгамеш», в журналах «Нева», «Дружба народов», «Нрещатин», «Новая Юность», Prosodia, «День и ночь», «Бельские просторы», «Нижний Новгород», «Гвидеон» и др. Автор сборников стихов «Рай для бездомных собак», «Орнитология воды», «Африкаснег» и «Глубина тиснения», участник ноллентивного сборника «Настоящие» из серии «Нижегородское собрание сочинений».

\* \* \*

Эх, и на что мы потрачены.  
Тихо гниет утиль.  
Видишь в разводах ржавчины  
ложку прощальной кутьи  
в пальцах друга сердешного.  
Воздух полон трухой.  
Стол, накрывавшийся к вечеру,  
пройден к утру сохой.  
Сохнет межа под лампою,  
в чашке пророщен чай.  
Кровь прогоняется клапаном  
под бормотанье врача  
по кольцевым артериям,  
что ни кювет – то жуть.  
На вот – стучи по дереву,  
чтобы туда не нырнуть...

Выводы геодезии  
о заповедной земле  
вечно грешат претензией,  
но не к самим себе.  
В саван одели дворника,  
а ведь хотел в пальто:  
я за бутылкой, мол, орликом,  
да насмерть сбило авто.  
Ты ж промышляешь строчками –  
ищешь потоньше смысл,  
можно подумать, скорчившись,  
станешь, как чешский сервис.  
Липнет к стеклу снежинка, но  
ей отведен лишь миг.  
Смотришь в тетрадь с ошибками –  
тоже мне ученик...

\* \* \*

И падал снег, и западала клавиша,  
чернели гроздьи, но не в нашем сне,  
где зябкая рука искала варежку,  
как век назад разбитое пенсне.  
Куда ни заводила эта песенка  
под заурядный аккомпанемент,  
а нам казалось, что выходит весело  
и ничего азартней в мире нет.

Кричали птицы голосами мертвых,  
которым отменили кислород,  
как средство словооборота,  
хотя возмешь ли слово в оборот.  
Здесь проводами небо зарешечено –  
смотри-смотри: с овчинку вновь оно.  
Опять себя накручивают счетчики,  
а нам платить за это вот кино.

И шла война по головам прохожих,  
внезапно поскользнувшихся на льду,  
и колкий ветер когтем вел по коже,  
допытываясь: how do you do?  
А песенка-то – дрянь, сказать по правде,  
но лучше не сумели сочинить.  
Стареют стены школы за оградой,  
где за иглой не поспевает нить...

\* \* \*

Косарь – коса – кошу –  
заданный алгоритм.  
Птицы летят на шум,  
происходящий внутри,  
в каждом клюве – перо  
и в каждом глазу – свеча.  
Мысленный Эдгар По  
в пепельной маске врача  
перелистнет закат,  
став золотым жуком,  
как и все те, что висят,  
стянутые шнурком,  
над упокой-травой  
в заданный день и час.  
Шапка горит, и вор,  
чувствуя, как горяча  
сорная голова –  
входит по горло в пруд,  
но погасить едва ль  
сможет он пламя тут...

Ветер с границ сильней,  
чем предсказал прогноз.  
Ложкою в киселе  
вязнет немой вопрос  
про адреса воды,  
где от теорий – сущь.  
Ложкой мешать одним,  
а вот хлебать кому ж?

\* \* \*

А жил бы рядом с морем –  
пропах бы той треской,  
что монотонно с мола  
ловил бы день-деньской  
в провинции, где скоро  
забудут в шуме волн  
не то чтобы канцоны,  
но даже сам канон,  
поскольку все развязней  
в таверне черный ром  
и проводок до часа  
припаян серебром...

Сел в поезд бы, уехал,  
сошел бы бог весть где,  
все стало бы не к спеху,  
размешанным в воде.  
Мечтал бы на террасе  
под метроном цикад  
о чем-нибудь прекрасном  
но взятом наугад,  
да это – только книжки,  
прочтенные тогда,  
когда зимы излишки  
всем стоили труда.

Бормочешь чьи-то строчки,  
сулящие муссон,  
а сам – как рваный почерк –  
упрям, но невесом.  
В империи родился –  
в империи умрешь.  
Бегут по кругу числа,  
мерцает Малый Ковш.  
В провинции без моря –  
все та же глухомань,  
есть и треска, и мойва,  
хоть чаще – требуха...



Ветер... ни словом больше.  
Что там в Иране, Польше,  
Турции, Украине? –  
не предавайся и не  
бойся бациллы – к черту!  
Не надрывай аорту  
криком о том, что вечно;  
глотка твоя конечна.  
Лучше вернись к началу –  
выйди, пройди к причалу  
утром с буханкой хлеба;  
там, в отпечатках неба,  
в кучу собравшись, утки  
чистят хвосты и грудки.





POST  
SCRIPTUM

*Умереть – это стать современником всех,  
Кроме тех, кто пока еще живы.*

А. Кушнер

В потертом узком городишке,  
внутри пивной или кафе,  
где мелочь кланчат ребятишки,  
и в старомодных галифе  
сидят военные, и метко  
летят табачные круги,  
и улыбается кокетка,  
блестят глаза и сапоги  
в закатном свете; дверь открыта,  
из граммофона дребезжит,  
чуть заикаясь, «Рио-рита»,  
то «Утомленное» шуршит;  
к столу подсели по-соседски  
через французский комплимент,  
им отвечают по-немецки,  
усилив выпитым акцент;  
правее слышится по-русски  
про революцию и класс;  
в чесночном соусе моллюски,  
и в шоколаде ананас;  
где некто в перьях, одинока,  
опять садится у окна  
и ожидает Сашу Блока,  
в стекле едва отражена;  
под фотографией неброской,  
где у Невы печален вид,  
смолит в углу Иосиф Бродский  
вторую пачку Chesterfield;  
заяввший к выходу поближе  
свободный столик, в стороне  
лоб потирает Боря Рыжий,  
не уступивший седине;  
в дыму разглядывая лица,  
и баки черные в толпе,  
не на веранде в теплой Ницце,  
не в ресторане в Сен-Тропе,  
когда все то, что примелькалось,  
и сквозь очки не разгляжу,  
сообразив, что жизнь промчалась,  
я тоже пива закажу.

## ЗАГОРОДНЫЙ НОКТИЮРН

Там, где самая прочная связь – переезд и мост,  
где по радио то, что и несколько лет назад,  
на дверном косяке сохраняя число и рост,  
проступает шкала от тебя отлетевших дат.

Там по-прежнему сдержан букет придорожных трав,  
аскетичней едва ли орешник и хвойный бор.  
Попадая туда, соблюдаешь лесной устав,  
даже волосы там не ложатся в прямой пробор.

Там, где жук-плавунец зарывается в черный ил,  
ты, глаза закрывая, способен еще грести,  
поднимая со дна имена из последних сил,  
что дрожат и сверкают, как рыба в ночной сети.

Там тебе одному, за листвою, вдали от встреч,  
мимо спальных районов, где шанс невелик уснуть,  
станционный диспетчер свою адресует речь,  
точно местный пророк, объявляя свободный путь.

## ЖАЛОБА- ЗАЯВЛЕНИЕ

Целый день в коридоре скребут и топают,  
в телефон больше часа орут о мелочи.  
За отсутствие света «спасибо» тополю,  
грязной туче в окне и тому, что неучи.

Лифт поднялся – рассыпался шум по лестнице:  
стук дверей, крик детей, лай собаки, возгласы.  
Тишина дорожает в текущем месяце,  
и душа оперение рвет, как волосы.

Я плачу по счетам: свет, вода, безмолвие;  
за последний – наличными одиночества, –  
посылаю в управу с пометкой «молния»:  
«Подключите!» (Фамилия, имя, отчество.)



| Юность № 7  
| Июль 2020

| Тема номера:  
| Воспоминания

# ПРОЗА



му сердце мое билось так, что его стук, казалось, слышит весь поселок.

- Иван, – сказал ее муж, прямо глядя мне в глаза, – с тобой все порядке?
- Да, – ответил я хрипло и сорвался на писк, – да, все в полном порядке.

\* \* \*

Он вызвал меня к себе и спросил прямо: «Иван, ты спишь с моей женой?» Это муж моей соседки на даче меня вызвал. То есть он пришел ко мне в сарай, где я коротал время за чтением «Книги перемен», сидя в полутьме за грязным столом, на котором, помимо книги, была банка с окурками, коричневый стакан с остатками чая и сахар в разбитой сахарнице. И еще было написано на этом столе: «Иван, 1917 год». Не знаю, как там появилась эта надпись, мы с братом часто гадали, каким образом и, главное, когда я успел побывать в прошлом, какие чудодейственные средства туда меня отправили. Причем наверняка в 1917-м этого стола еще не существовало! Так вот, сосед пришел ко мне в сарай и сказал, бряцая бутылкой водки: «Иван, пойдем ко мне на террасу, есть разговор!» Я молча встал и пошел за ним, предчувствуя грозу.

Когда он мне задал этот вопрос – про интимные отношения с его женой, я растерялся. Я не мог признаться ему, что вообще еще ни с кем не спал и об интимной стороне дела знаю только понаслышке. И даже не представляю толком, с какого края надо к этому делу подходить и как за него браться. Поэтому, сделав наглое лицо, я сказал: «Понимаешь ли, у меня в жизни уже столько любви было, что больше не хочется! Надоело!»

От удивления он поперхнулся и вытарашил на меня глаза. «Иван, не смею сомневаться в твоей правдивости, уверен, что все сказанное тобой – сияющая истина, но все же в твоём возрасте у меня, например, любви почти не было. Как же ты смог так ею назаниматься, что тебе прямо-таки надоело?!» «О! – ответил я, небрежно прикуривая. – Сейчас такие времена и нравы, что нет ничего проще. Шас все это запросто!» «Вот тебе деньги, – сказал тогда он, – быстро дуй в магазин и обратно, чтоб одна нога здесь, другая там».

Когда поздно вечером приехала его жена с работы, мы все еще сидели на террасе и вели беседу о любви – уже совсем пьяные. «Вот, – сказал он ей, указывая на меня, – перед тобой человек, который вообще не нуждается в интимных отношениях! Снимаю шляпу».

\* \* \*

А в другой раз он решил меня застрелить. Теперь мне кажется, что это было так давно, как будто в прошлой жизни или, по крайней мере, тысячу лет назад, в самые темные Средние века. В самом деле, то, что окружало меня в ту пору, никак не походило на условия современной цивилизованной жизни. Разбитая ветрами, дождями и временем лачуга с развалившейся печью, которую топить следовало с осторожностью, потому что задняя кирпичная стенка легко могла отвалиться, а передняя вывалиться, была моим домом. Стекла в старинных оконных рамах с облупившейся белой краской местами отсутствовали, и вместо них торчали подушки в бурых разводах от слез, воды и чая, на столе месяцами валялись немытые ложки, чашки и стоял обгоревший желтый чайник, табуретки качались, как в шторм, а кровати, раз и навсегда застеленные, были жестки, точно надгробные плиты. А вокруг лачуги – заросли, заросли и снова заросли, густые, темные и сочные, джунгли хрена и гречихи, сосны, яблони, вишни и огромная береза, цветы и высокая трава. Бывало, встав с утра, я весь день просиживал за столом у окна, глядя на этот самый стол, или сад, или на небо изредка и попивая чай.

Так вот, однажды ночью пришел сосед, сел на косоу табурет напротив меня, положил на стол пистолет, выпил водки и сообщил, что собирается меня прикончить.

\* \* \*

Потом мы дрались с ним всю ночь. С мужем моей соседки. Он предложил мне выйти в сад для драки. Никто нам помешать не мог, все уже спали. Вообще весь поселок устал уже от нашего любовного треугольника, история этого адюльтера приелась людям, как скучная мелодрама. Это поначалу они смаковали происходящую у нас трагедию, сидя вечерами на верандах, а потом им надоело – так же как и американским телезрителям когда-то надоели регулярные трансляции экспедиций на Луну. Все рано или поздно надоедает.

– Пойдем выйдем, – сказал он мне, – решим наш спор в честном бою!

А у меня, надо сказать, никакого спора с ним не было, это у него был спор со мной, но делать было нечего, и я вышел. И вот началась у нас драка. Хотя дракой это назвать сложно, я был еще тот боец, так что это, скорее, походило на избивание детей. Но я держался до последнего. Мы мотались по всему





на фоне, серые сухие доски стола, ощущение начала романтического приключения и блестящие очки соседа. Ну и, конечно, волнующую близость соседки, которая сидела рядом и жадно внимала мне, как будто с моих уст слетали чудесные псалмы. Но нет, язык у меня во рту едва ворочался, и я рассказывал ей что-то о моем брате и в конце концов заплакал.

\* \* \*

Вообще мы были интеллигентными детьми, с развитыми представлениями о должном, правильном и прекрасном. Мы были воспитаны на классической литературе, на лучших образцах изысканного вкуса и утонченных манер. Поэтому мы не могли, например, купаться без плавок. На пляже, куда мы ходили, будь то Плотина, Собачий или Золотой, мы стеснялись переодеваться в открытую и наматывали полотенца на свои тощие бедра, чтобы надеть плавки перед купанием или чтобы снять их после купания. При этом мы очень волновались, что нас кто-то увидит обнаженными!

Так вот, как-то мы шли купаться с нашим дядей. Он, конечно, уже выпил, иначе он ни за что не пошел бы с нами купаться. В то время он был уже далеко не молод, с большой лысиной и седой займой, которой он эту лысину прикрывал. Мы пришли, кажется, на Плотину. Там было полно народу, потому что стоял солнечный жаркий день. Люди купались, загорали, бегали по берегу, играли в бадминтон или карты. И вдруг наш дядя снял штаны, а трусов у него никогда не было, и голый с криком побежал к воде. Не знаю, зачем он кричал, то ли чтобы показать свою удаль, то ли ради удовольствия, то ли чтобы привлечь внимание окружающих. Последнее ему удалось, все, конечно, стали смотреть на него. Он прыгнул воду, продолжая кричать что-то типа: «Эх! Хорошо!» и «Чего стоите, пацаны! Айда!»

Нам, конечно, неловко было после этого заматываться в свои полотенца.

\* \* \*

Как-то дядя поджарил вкусные шкварки. Не могу сказать, что я любитель таких блюд, но в этот раз мне понравилось. Так я ему и сказал:

– Дядя, офигительные шкварки.

Он засмеялся, вспомнив какую-то веселую историю, и ответил:

– А знаешь, что мы, музыканты-духовики, называли шкваркой, когда были студентами?

По его лицу видно было, что сейчас он намерен рассказать что-то ну очень смешное.

– Нет, не знаю.

– Валторну! – хохоча, заявил он.

Я даже не улыбнулся. Он понял, что шутка осталась непонятой, и с раздражением пустился в длинные объяснения, что такое валторна, что у валторны самый божественный звук и какова партитура духового оркестра. Этот рассказ – про партитуру – я слышал десятки раз с самого детства, но так и не смог ее запомнить. Хотя он меня и предупреждал: «Ваня, всякий интеллигентный человек обязан знать партитуру духового оркестра!»

\* \* \*

Был и случай измены – первый в истории моих романтических отношений. Однажды случилось так, что муж моей соседки уехал и должен был остаться в городе на ночь. В этой связи она ждала меня вечером в гости. Но не для того, чтобы слиться в порыве бешеной страсти в супружеской постели, пока хозяина нет, совсем не для этого – потому что мы были слишком благовоспитанные. Нет, мы собирались провести время в общении, за чаем, наслаждаясь тем, что мы просто вдвоем, без посторонних. А получилось так, что еще днем другой мой сосед, какой-то бизнесмен, торгующий совестью, пригласил меня в гости по случаю торжества. К нему приехала подруга с вполне взрослой дочерью, и вот они намеревались отмечать вроде день рождения. Я принял приглашение и явился, даже не занявшись туалетом – то есть не побрившись, не причесавшись, не умыв лица и не сменив одежду. Правда, если бы я сменил одежду, то было бы еще хуже, потому что я и так всегда ходил в лучшем, что у меня было. И спал часто в нем же. Но это к делу не относится.

Итак, мы сидели за столом в саду, выпивали, ели и болтали о том о сем. За празднованием я и не заметил, как стемнело, а мысли о соседке закатились куда-то за горизонт вместе с солнцем. В какой-то момент бизнесмен предложил мне с девушкой прогуляться и добавил, что сам он тем временем покажет ее маме кое-что в доме. Я сразу сообразил, что он собирается показать ей в доме. И тогда же я понял, зачем он меня пригласил – чтобы дочери его подруги скучно не было, пока он что-то ей показывает. Я согласился и повел девушку на пляж по темным дорогам, рощам и оврагам. Мы шли в темноте, держась за руки, и мне все казалось, что кто-то смотрит с упреком мне в спину – уж не знаю, кто это был, может, паранойя, а может, моя совесть или

просто полная луна. Больше ничего между нами не было. Когда мы с ней расстались и разошлись по своим домам, я вдруг вспомнил о соседке. Свет еще горел у нее на веранде, и я понял, что она не спит. Недолго думая, я перелез через забор и увидел, что она сидит за столом и механически раскладывает пасьянс. «Привет, – сказал я с нарочитой наглой улыбкой, заходя в дом, – сигареты есть?» Она посмотрела на меня прохладно и ответила: «Вань, иди спать».

\* \* \*

И кое-что еще припомнил я из нашего знакомства. Когда мы сидели все вместе за столом в саду, беседовали, пили французское вино, вроде как бордо, марку точно не помню, возможно – «Шато Ля Гроле» или «Шапель де Потансак», и закусывали, кажется, фуа-гра и мягкими сырами из Оверни, нас с братом вдруг потянуло на пение. Вы, наверное, сейчас уже думаете: «Иван, хватит врать, какие вина и сыры, вы там пиво пили или какой-нибудь дешевый портвейн, а закусывали сигаретным дымом». Да, так и было, извините, никаких вин мы не пили и ничем хорошим не закусывали, но и не важно, это не мешало нам чувствовать себя так, как будто мы сидим в уютном ресторане где-нибудь на набережной Ла-Рошеля, вокруг вьются официанты и прекрасные женщины бросают на нас томные взгляды.

Так вот, в какой-то момент нам с братом захотелось петь. И мы взяли и запели. Соседа, конечно, передернуло от нашего пения, он закатил глаза и скривил губы. А к тому времени весь поселок уже тошнило от нашего пения, потому что пели мы и днем, и ночью, и это притом, что у меня нет ни слуха, ни голоса. «О, опять!» – стонали жители поселка и закрывали ставни даже в жару, потому что пели мы не просто песенку или две, нет! – наш репертуар состоял из пары десятков песен. Мы не стеснялись никакой обстановки, в любой ситуации и в любом месте, в лесу ли, в транспорте, в кафе или магазине мы могли взять и запеть. Сейчас я ни за что не запел бы, мне становится неловко от одной мысли, что я могу запеть. А тогда нам это нравилось. И вот, сидя ночью за столом, мы запели. И что удивительно, соседка наклонилась к моему уху и прошептала нежно, касаясь меня теплыми губами: «Мне очень нравится, как вы поете! У тебя очень красивый голос!» Я обрадовался, польщенный, и запел еще громче – так, что сосед совсем помрачнел.

\* \* \*

Правда, помимо уже рассказанной версии событий, есть у меня еще одна. Это касается нашего знакомства с соседкой. Странно, но у меня в памяти сохранились две истории о том, как мы познакомились. Одна – как она пригласила нас в гости, когда мы сидели с братом на бане и пили пиво, другая – как она сама пришла к нам, когда мы с братом пили чай у себя в саду. И видимо, этот вот, второй случай, был раньше.

Помню, стоял летний вечер. Солнце уже почти зашло, и сад окрасился глубокой синевой, укромные участки в кустах и траве утонули в тених, поселок замер в тишине. Мы сидели за столом, пили чай из старинного самовара, на нас веяло сиренью и сыпалась всякая труха с березы и сосен. Хотя, возможно, было и не так уж поздно, может быть, еще только начинало вечереть, и с соседних участков доносились звуки жизни, а сирень давно уже отцвела. Как бы то ни было, мы с братом сидели за столом под березой и пили чай из самовара. Я был в ужасно идиотской зеленой махровой беретке. То есть если бы я сейчас кого увидел в такой беретке, то расхохотался бы. А тогда мне, видимо, казалось, что это очень классно и я прекрасен.

И вдруг из-за забора соседка спросила нас: «Ребята, можно к вам, чаем угостите?» Что-то такое она сказала, точно не помню. Мы, конечно, согласились и стали пить чай втроем. И вот с этого-то все и началось.

\* \* \*

Я сейчас скажу полную банальность, но, тем не менее, мне кажется, надо уметь смеяться над собой, смотреть на себя со стороны (желательно с отдаленной перспективы – откуда-нибудь с горы, а еще лучше из космоса, так чтобы выглядеть поменьше на фоне большой Вселенной) и иногда подвергать сомнению собственную значимость. Некоторые на это скажут мне: «Иван, сообщил новость, а мы не знали!» Я понимаю, конечно, что знали, об этом говорят на разные лады уже тысячи лет, от Будды до Ницше (да и раньше, и позже тоже говорили), – увидь себя со стороны, осознай иллюзорность своих повседневных забот, их подлинное значение и происхождение, а может, и иллюзорность своего «я». Мне даже кажется, такое осознание является основанием для достоинства и душевного равновесия.

Помню, например, как-то сидели мы с братом у соседей на даче и играли в карты. Я был в той самой дурацкой махровой беретке, благодаря которой, как

Интересно, что между мной и братом была некая мистическая связь. Что случилось с ним, то случилось и со мной, причем почти в одно и то же время.

мне казалось, я обольстил жену соседа. За окном смеркалось, веранда освещалась неярким золотистым светом бра, так что в одном из стекол (справа от меня) я мог видеть свое отражение на фоне темных буро-зеленых зарослей в саду. И чем сильнее смеркалось, тем четче вырисовывалось мое отражение. Мы играли, а я все поглядывал в окошко и думал – какой же я красивый и как мне идет эта зеленая беретка, должно быть, соседка смотрит на меня и млеет! А она и правда смотрела на меня частенько и улыбалась. Я же, чтобы усугубить свое величие, старался сделать особое выражение лица, присущее красавцу и романтическому герою. Наконец она не выдержала и сказала: «Вань, ну зачем ты делаешь такое дебильное лицо?» Я очень обиделся.

\*\*\*

Вообще, я, конечно, понимал, что молодой человек должен добиваться расположения девушки долго и мучительно. Он должен месяцами стоять на коленях под ее окнами – каждую ночь, в дождь и слякоть, в град и снег, в любую непогоду и ненастье, – и петь романтические серенады. В надежде на то, что когда-нибудь она, наконец, выйдет в лунную ночь на балкон и взглянет на него, тощего и бледного от любви, и соизволит кивнуть ему едва заметно, ну или хотя бы смахнет с подоконника в его сторону лепесток розы. Тогда юноша должен, захлебываясь слезами счастья, схватить этот лепесток и жадно целовать его, прижимая к лицу и вдыхая его аромат, как самый восхитительный на свете и несухой частичку возлюбленной. И рано или поздно (скорее, поздно) она, тронутая его преданностью, соизволит спуститься к нему побеседовать о погоде и, может быть (но вряд ли), согласится про-

катиться с ним на лошадях куда-нибудь недалеко. А то, что мы наблюдаем в наше время, – это просто не пойми что такое.

\*\*\*

А как-то мы с ним были на церковной службе и слушали песнопения. Рядом стояла рыжая девушка, с волосами, похожими на пылающий огонь, с фигурой Венеры и взглядом искусительницы. Вообще она была моей ровесницей, может, на год старше, но мне она казалась взрослой и демонически опытной, знающей нечто такое, о чем я только смутно, с внутренним трепетом, пробирающим меня в груди и животе, мог догадываться. Она испытывала какие-то чувства к моему брату и смотрела на него загадочным, манящим, многообещающим взглядом. Если бы она смотрела так на меня, я бы сдал все бастионы, я бы отринул веру и непорочность и пошел бы за ней куда угодно. Но брат мой в ту пору был непоколебим, он пел в хоре, читал молитвы и твердо избегал греховных желаний. И вот, то слушая песнопения, то глядя на рыжеволосую девушку, я пришел в такое сложное состояние, что потерял сознание, и повалился на хоругви, и увлек за собой подсвечник, и растянулся без памяти на полу.

\*\*\*

Интересно, что между мной и братом была некая мистическая связь. Что случилось с ним, то случилось и со мной, причем почти в одно и то же время. Если с кем-нибудь из нас происходила неприятность, то нечто похожее следовало ожидать и другому. Например, когда я, упав с велосипеда, разбил свое лицо, то аналогичная история приключилась и с братом, и в тот же день. Пока я валялся на шоссе, мой брат, намеренный покорить сердце одной бессердечной девушки, а может, и не бессердечной, а просто каменной, или не каменной, но весьма прагматичной, совершал прыжок с плотины в бушующий водопад. На самом деле, конечно, это был никакой не водопад, а грязная, еле текущая речка, но высота плотины сама по себе заслуживала уважения. И вот, желая произвести на избранницу неизгладимое впечатление, он взял да и прыгнул головой вниз с этой плотины. А поскольку река совсем обмельчала, то он воткнулся головой в песок, где было много битого бутылочного стекла. К сожалению, она не оценила его подвиг, между тем достойный Роланда Ариосто. Впрочем, Анджелика тоже не ценила Роланда.



и было, мы за ней, конечно, тоже волочились, но я сейчас о другой – девушка была человеком, и коса была из волос.

Я пошел на «площадку» – так называлось место, где рос огромный дуб и где жила эта девушка с косой. По пути я должен был миновать дом родителей моей соседки. Я шел по старой земляной дороге в густой тени деревьев и кустарников и мысленно напевал, думая о том, что мы сейчас вот встретимся с братом и устроим нечто такое, что все будут в шоке. И вдруг отворилась калитка, ведущая в сад родителей моей соседки, и на дорогу вышла она сама. Она подбежала ко мне, вся такая воздушная и прекрасная, мне даже показалось, что она богиня и от нее веет всеми цветениями весны, и сказала взволновано:

– Я сидела с мамой и внезапно почувствовала, что ты идешь мимо!

\* \* \*

Мне всегда казалось, хотя многим это покажется бредом и мистикой, что влюбленные люди чувствуют друг друга на расстоянии. Это что-то вроде квантово-механической запутанности, когда изменение одной частицы мгновенно отражается на другой.

Как-то мы с ней отправились на променады. До этого мы не гуляли и вообще наедине почти не оставались. Поэтому я находился в очень большом напряжении, мне казалось, я сейчас взорвусь или произойдет самовозгорание. Я решительно не знал, что нужно делать с девушкой на прогулке.

И вот мы идем, я весь такой наэлектризованный и зажатый, как на ходулях, она рядом, молчит, смотрит по сторонам. Ждет, наверное, что я скажу что-то. А я сказать ничего не могу. И вдруг слышу:

– Эх, Ваня, зря мы все это с тобой затеяли!  
– Почему зря? – говорю.  
– Ты о чем? – спрашивает она.  
– Ну ты сказала сейчас: «Эх, Ваня, зря мы все это с тобой затеяли!»  
– Я этого не говорила! – возразила она. – Я это только подумала!

\* \* \*

Одно время в нашу речь прочно вошло такое слово: «сермяга». Не помню, в какой именно связи, но оно очень прижилось, так что стало как бы постоянным междометием. О чем бы мы с братьями ни говорили, обязательно упоминали сермягу, но обсуждали ее не саму по себе, потому что мы нико-

гда не знали, что это такое, а в связи с чем-либо, как пояснение к чему-то, как выражение отношения или свойства. Например, выказывая одобрение, я мог сказать: «Да, это сермяжно!» Или «в этом есть что-то сермяжное!» Или даже так: «Без доли сермяги здесь не обошлось!» И так прицепилось ко мне это понятие, что я использовал его почти в каждом предложении и по любому поводу. Соседку это раздражало. Допустим, она хотела со мной обсудить будущее наших романтических отношений (девушкам всегда интересно это будущее) и спрашивала меня: «Вань, ну а дальше-то что? Как ты думаешь?» А я качал головой, смотрел в пол и, скривив губы, произносил уклончиво: «Да, есть в твоих словах доля сермяги!» «Блин, Ваня, – злилась она, – какой сермяги? Что это за гадость такая – сермяга? При чем здесь сермяга?» А я не отступал: «Ну как при чем, сермяжные вещи ты говоришь!»

\* \* \*

Мне всегда казалось, что соседка должна первая предпринимать какие-то шаги для развития наших отношений. Что она должна приходить, что-то предлагать, в общем, проявлять инициативу. Наверное, мне так казалось, потому что она была старше и замужем. А может, и не поэтому. Короче говоря, я не мог себе и представить, чтобы я сам что-то ей предложил, но всегда старался сделать так, чтобы быть увиденным или услышанным, то есть пытался ее спровоцировать на действие.

Не решаясь сделать первый шаг, я мог неделями сидеть у забора и ждать, что она, наконец, обратит на меня внимание, придет, заговорит, пригласит в гости. Она же, видя мое напряженное показное равнодушие, думала, что я больше не хочу с ней общаться, и, естественно, не приходила. И вот я сидел на деревянной скамье и ждал, час за часом, день за днем, и все больше и больше расстраивался. В какой-то момент я почувствовал, что скоро сойду с ума, если не разрешу этот внутренний конфликт. Вроде бы что могло быть проще – взять и пойти к ним в гости, заговорить о чем-то, что-нибудь предложить, сыграть в карты, попить там чаю...

Но мне все это представлялось невероятным, невысказанно сложным, невозможным. «Как, – думал я, – как я могу к ним прийти? Что я им скажу? Это исключено!» Короче, мне это казалось какой-то неслыханной дерзостью. И я трусливо продолжал сидеть на скамье в саду, сливаясь потихоньку с растениями. Но в конце концов мое напряжение



достигло кризисной отметки, и я понял, что у меня нет другого выбора – я должен сам пойти к ним или попасть в сумасшедший дом. Стиснув зубы, дрожа от волнения, я вскочил на забор и увидел у ступенек веранды ее мужа, задумчиво курящего папиросу. Он странно на меня посмотрел, наверное, испуганный моим лихорадочным состоянием. «Тебе чего, Иван?» – сказал он тихо и умиротворяюще, как, наверное, разговаривают с помешанными. «Выпьем?» – возбужденно предложил я. Он согласился и предложил мне зайти. С тех пор я снова стал частым гостем в их доме, и все пошло как прежде.

\* \* \*

Как-то я решил оказать ей знак внимания: подарить цветы, но не просто так взять и банально подарить, а сделать это с романтической интригой. Потому что всем известно – девушки любят романтический ореол в отношениях, без этого они вянут. Для осуществления своей затеи я попросил помощи у брата. Мы дождались темной глухой ночи, когда не было на небе луны и звезд, только блеклые серые тучи, и плотный туман обволакивал свет фонарей, не давая им толком светить. Хотя, как я давно заметил, как раз в ясную лунную и звездную ночь наибольшая тьма и меньше всего видно, а вот в облачную ночь, наоборот, можно хоть что-то разглядеть. И вот после полуночи мы полезли сквозь пролом в заборе через персидскую сирень, цветущую черным во мраке, в сад моей возлюбленной. Ветки сирени лезли в глаза и царапались, ржавые гвозди в заборе впивались, точно когти. Где-то невдалеке были собаки по-волчьи, по примете предвещая кому-то смерть. Не дыша, едва ступая, мы приблизились к их дому. В руке я нес розу.

Стараясь не шуметь, мы вытащили стекло из окна веранды и залезли внутрь. Там я поставил розу в вазу, стоящую на столе. Рядом с вазой лежала колода карт, и я зачем-то взял из нее то ли тройку, то ли семерку, то ли туза, не помню, а может, просто карту наугад, какую-нибудь даму пик. Затем мы вылезли обратно и беззвучно вставили стекло на место. Вдруг нам послышался шум из дома, и мы поняли, что нужно бежать. Мы рванули по выложенной плитками дорожке к забору. Дорожка оказалась скользкой – видимо, из-за конденсата, и я поскользнулся и упал на нее грудью. Мне было очень больно, поэтому я жестко выругался вслух, но встал и побежал дальше, преодолевая боль, едва не плача и мысленно матерясь. «Кто там?» – раздался сонный встревоженный голос позади, но мы, естественно, не стали останавливаться и отвечать.

\* \* \*

Как сильно различалось планируемое и действительное!

То есть, садясь в электричку в Подмоскowie, я думал: сейчас я приеду весь такой высокий и красивый, умный и талантливый, ловкий и уверенный в себе, и она потеряет дар речи просто от восхищения и любви ко мне.

Стоя в тамбуре и глядя в окна раздвижных дверей на летящий мимо зеленый пейзаж, я воображал нашу встречу. Как на тенистой улице, под сенью старых яблонь, в цвету сирени, у выцветшего деревянного забора, стоит она. Она выбежала потому, что почувствовала мой приезд! Она в простом, легком, как ветер, дачном платье, и сама вся такая дачная, летняя, солнечная!

А издали иду я. Не спеша, глядя по сторонам небрежно, но чем ближе к ней, тем чаще выглядываю на нее и улыбаюсь широко и спокойно. Но и меня охватывает странное волнение, какая-то смесь восторга, счастья и полета – наверное, это и есть то, что называется любовью...

На деле же, едва заметив ее в отдалении, я превращаюсь как будто в калеку. Я становлюсь неловким, угловатым, почему-то начинаю заваливаться то вправо, то влево, коленки задевают друг друга и руки мешаются, и я не знаю, куда их деть.

Подходя ближе, я уже совсем трясусь.

- Привет, Вань! – говорит она радостно.
- Прррр... – слабо хриплю я в ответ, теряя голос на половине слова.
- Все хорошо? А чего это у тебя в волосах? Сопля, что ли?

\* \* \*

Однажды мы условились встретиться у поля, на перекрестке, недалеко от наших дач.

Я пришел раньше и ждал ее, как и полагается джентльмену. Меня всего трясло и лихорадило, и я мечтал о том, чтобы она не пришла. Я пытался взять себя в руки, но руки не слушались меня, как будто были не мои, и ноги тоже.

- Иван, – говорил я себе, – да что такого! Эка невидаль – свидание! Сколько ты читал об этом в книгах и сколько видел в кино! Так будь же Дон Жуаном, будь мужчиной!

И я попытался придать себе безразличное мужественное выражение. Но тут краем глаза заметил ее – тонкий и далекий силуэт на дороге – и сразу покрылся холодным потом, и застучали зубы,

и сердце забилося черт знает как. Я надеялся, что она свернет куда-нибудь или что все же это не она, но нет, это была она, и она приближалась.

И вот подошла она наконец и спросила:

— Вань, все в порядке? Чего у тебя вид какой-то щенячий?

Я же от напряжения завис, и начал перезагружаться, и стоял молча и смотрел на нее, пытаюсь что-то произнести. Сказать я хотел «привет», но забыл, как это говорится, и в конце концов промямлил, сам не понимая, что говорю:

— Счастливого пути!

\*\*\*

|||||

Нечто похожее случилось со мной и раньше. Однажды мне очень понравилась девочка, живущая по соседству на даче. Она жила не совсем рядом, до ее дома надо было пройти по тенистым улицам, по земляным дорогам, вдоль старых заборов, увешанных сиренью, яблонями, боярышником, ежевикой и еще черт знает чем. В том месте, где она жила, на просеке возвышался огромный старый дуб, а вокруг росли высокие густые колючие кустарники, на границе которых стояли качели. И вот я приходил и сидел на этих качелях, болтался на них и томился, маялся, в общем, ждал, ждал, когда появится она со своей хитрой улыбкой, прекрасными глазами с поволокой, роскошной толстой косой и на удивление волосатыми руками. Вероятно, я даже прокахивался вдоль забора и покашливал громко, чтобы она меня заметила. И вот она замечала и, взяв велосипед, выходила на просеку. Взмахнув толстой косой, она, как будто не глядя на меня, ловко седлала железного коня и уезжала прочь. А я, горемыка несчастный, робкий идиот, застенчивый дурак, плелся обратно на качели и сидел там, не решаясь ехать за ней, хотя и понимал, что она вышла не случайно. Просидев полчаса, я в отвратительнейшем настроении шел домой. И надо же, выйдя с просеки на дорогу, я видел невдалеке на повороте ее, терпеливо ждущую и смотрящую в мою сторону.

\* \* \*

|||||

При всем том я был очень надменный. Я смотрел на многих свысока и отказывал им в уважении на том основании, что у них, по моему мнению, слабый интеллект. Сейчас я уже переосмыслил свои позиции по этому вопросу и понял, что развитый интеллект – это, конечно, что-то хорошее, но совсем не редкое и далеко не главное.

В этой связи вспоминаю такой случай. Сидел я как-то в сарае, читал книгу, пил чай. Не помню, что за книга была, помню только, что она все время неприятно прилипала к столу. И руки тоже прилипали – ведь когда читаешь за столом, удобно локти положить на столешницу. А столешница была вся залита вином, сладким чаем, посыпана сахаром, в общем, к ней хорошо все липло. И вот я сидел, почесывал давнюю щетину, курил и злился на липкий стол. За окном же бушевало лето, зной заливал сад, но, несмотря на жару, зелень росла густо, как в джунглях: высокая трава, пышные кустарники, заросли хрена, частые плодовые и лесные деревья. Тихо было, только жужжали и стрекотали насекомые в полном безветрии, все замерло и время тоже как будто замедлило свой ход. Казалось, живая природа за окном звала меня из сарая, прочь от липкого стола с книгой, но я не шел, потому что не знал, что мне делать с ней, с этой природой. О, если бы я только знал, я бы, конечно, бросил все и ушел!

И вдруг ко мне в сарай зашла соседка. Она была в отличном настроении (что мне не понравилось, так как я считал, что она должна страдать из-за нашей любви). «Привет, Вань, – сказала она весело, – ну что ты здесь сидишь, как паук в темном углу, смотри, как здорово на улице, иди гулять! Сколько можно всякой фигней заниматься!» Я посмотрел на нее снизу вверх, отодрал локти от стола и ответил: «А я вижу, ты поумнела!»

\* \* \*

|||||

Должен признаться, что и я претендовал на девочку с волосатыми руками, но уступил ее моему брату по итогам честной схватки. Дело было так. Мы частенько, каждый день (а иногда и по два-три-четыре раза в день), навевались на площадку, сидели на качелях и громко хохотали, чтобы привлечь ее внимание. Рано или поздно она, наслушавшись нашего смеха, выходила. Или же, если смех не действовал, мой брат шел к ее забору и кричал: «Выходи!» — а я поражался его смелости, потому что сам был слишком робок для такого поступка.

И вот как-то раз она вышла с бадминтоном. С длинной косой, игривой улыбкой и ямочками на щеках. И так нам нравилась эта ее коса, улыбка и ямочки, что волосатые руки делались незаметными. Хотя между собой, сидя вечером в саду за чаем, мы говорили, конечно: «Ты видел, какая у нее шерсть?» И показывали пальцами длину этой воображаемой шерсти: «Во!» Итак, поскольку игра на двоих, а нас было трое, мы с братом решили сразиться в бадмин-



тон первыми, а победитель получал право играть с ней. Началась схватка, и, хотя я играл, в общем, неплохо, от волнения вдруг растерял все свои навыки. И проиграл брату с большим счетом. Я тогда очень расстроился, перелез через чей-то забор, упал в лопухи и слушал с горечью, как они играют и смеются. И, лежа так, глядя в небо на бегущие облака, я твердо решил, что пусть уж лучше девочки меня добиваются, а я их больше не буду.

\* \* \*

Мой брат стал частым гостем на площадке, где рос огромный дуб и жила девочка с волосатыми руками. Между ними явно возникли романтические отношения – они могли часами стоять друг напротив друга и говорить о всякой чепухе. Я немного ревновал к ней брата, потому что если раньше мы сутки напролет были с ним неразлучны, то теперь он только и думал о том, как бы с ней встретиться. Я ничем не мог его выманить от нее, ни шоколадом, ни мармеладом, ни предложениями заманчивых путешествий, ни книжками с картинками. Хотя, по правде, никакого шоколада, конечно, не было, это я так, в переносном смысле, и никаких путешествий тоже. Разве что путешествие на великах в соседнее Болшево за пивом.

Гуляли они по всему поселку, нередко хаживали и в березовую рощу, где над обрывом в укромной тени стояла скамейка. Со скамейки открывался вид на реку, чудесный особенно вечером, когда закат ложился багряной пеленой на водную гладь и окрашивал белых лебедей в розовый цвет.

Они сидели там, на этой скамейке, и беседовали влюбленно. Но, надо сказать, что девочка с волосатыми руками была той еще сукой. Помимо моего брата, был у нее другой ухажер – юный алкоголик и наркоман с маниакально-депрессивным психозом. Он ее шантажировал, что если она не будет с ним встречаться, то он покончит с собой. Она все это рассказала моему брату и сообщила, что не может допустить смерти человека. Поэтому этот алкоголик и наркоман приезжал к ней в гости, жил у нее, гулял с ней и все такое. А мой брат с темным чувством в сердце наблюдал это и молился, прося всевышнего дать ему терпения и смирения. И, что интересно, всевышний его услышал.

\* \* \*

Находясь в гостях у соседки, сидя с ней на веранде и предаваясь всяким беседам, я все время сомневался – правильно ли я делаю, что сижу здесь,

или же я на самом деле смущаю ее своим присутствием, она тяготится, но стесняется мне об этом сказать? И вот вместо того, чтобы наслаждаться нашим уединением, вместо уверенного осознания того, что она в меня влюблена и поэтому рада каждой секунде, проведенной со мной, я страдал от мучительных размышлений. Я чувствовал себя ужасно неловко и неуклюже и в конце концов говорил: «Если ты считаешь, что мне пора домой, то дай мне об этом знать!» А она мне отвечала: «Вань, ну ты что, совсем, что ли, дурак, как я могу так считать?!»

\* \* \*

Муж моей соседки был на удивление лихой человек. Как говорится, старой закалки, не то что мы с братом. Он воспитывался на других ценностях, когда превыше всего в юноше ценились доблесть, бесстрашие и дух соревнований. Если наше детство прошло среди книг, мам и бабушек, то его – среди драк, отчаянных поступков и лошадей. Между эпохами, разделявшими и воспитавшими нас, была такая же разница, как между Возрождением и Просвещением. Хотя нет, я сейчас подумал, что это слишком уж натянутое сравнение, такой разницы, конечно, не было. Но было то, что романтические идеалы его времени сменились холодным рационализмом и буржуазностью нашего.

И вот однажды я стал свидетелем былой отчаянности моего соседа. В тот день мы отдыхали на пляже у Плотины. Шел уже третий год нашего знакомства, и я, несмотря на нашу дружбу, стал воспринимать его как никчемного алкоголика с серьезными психическими отклонениями.

Он сидел на траве, а мы с братом прыгали в бурлящую воду с небольшого возвышения у края плотины – что называется, солдатиком, и очень этим гордились, полагая, что делаем нечто сложное, заслуживающее удивления и восхищения. Долго глядел на это сосед, молча и равнодушно – я думал, что он завидует нашему мастерству. Но вдруг он встал и направился к плотине. Ни слова не говоря, он взобрался на самый ее верх, возвышающийся на несколько метров над водой, и прошел по узкой железной перекладине до края. Люди с любопытством глядели на него, оставив свои дела, и думали: что такое затеял этот худой черт, завсегдатай злых мест в Бурково, Болшево и Загорянке, полночный велосипедист до магазина и обратно? Постояв так с полминуты, он слегка согнулся, затем резко оттолкнулся и ласточкой взлетел к небу, описал дугу

и плавно, почти беззвучно вошел в воду – у самого бетонного основания плотины. Если бы он приводнился чуть ближе, то верно разбился бы насмерть. Весь пляж затих и обратил на него восхищенные взоры. И мы братом тоже замерли и, открыв рты, смотрели, как он, мокрый герой, вылезает на берег.

\* \* \*

Всегда, когда мы собирались большой компанией, мне казалось, что она не обращает на меня должного внимания. Большая компания – это она, ее муж, мы с братом и еще ее подруга. Конечно, на самом деле компания не так уж и велика, но любые посторонние, которые мешали нашему с ней интимному общению, казались мне большой и совершенно лишней компанией. И вот едва такая компания собиралась, я сразу начинал нервничать и беситься, потому что она, по моему мнению, переставала уделять мне внимание.

Так оно, в общем-то, и было, потому что не могла же замужняя женщина при живом муже и других людях открыто кокетничать и влюбленно на меня смотреть. Тем не менее, понимая все это, я страшно был недоволен, что она не смотрит на меня влюбленно и не кокетничает. Тогда мне начинало казаться, что я ей больше не интересен и прошла любовь. От таких мыслей я становился мрачнее тучи. Хотя это совершенно дурацкое сравнение, про тучу, принятое в классической литературе. Мрачность туч лично на меня, например, всегда производила очень приятное впечатление. Мне нравятся грозовые тучи и тьма, которую они нагоняют, – мне кажется, нет ничего веселее и радостнее на свете. Поэтому, скажем так, я становился мрачен, как ночь, но не как обычная приятная и свежая ночь, а как зимняя, холодная и с ледяным дождем. Лицо мое чернело, глаза стекленели и рот замолкал – я был рядом с ними как статуя или мумия, а не как живой человек. Думаю, никто не понимал, что со мной происходило и почему, но наверняка всех угнетало мое настроение. Это всегда так – если рядом человек с мрачной недовольной рожей (особенно если этот человек близкий и родной), всем становится тягостно от его присутствия.

\* \* \*

Что такое любовь? Этим вопросом не раз я задавался, сидя за столом под могучей березой напротив дома соседки. Я сидел там целыми днями с книгой, но смотрел не столько в книгу, сколько в сторону

ее крыльца, надеясь на что-то не совсем определенное. Хотя вполне определенное – я надеялся, что она выйдет и заметит меня. Но что с того? Какие я получал от этого бонусы? Никаких. Она выходила, замечала меня и шла дальше. Но не сидеть там и не ждать ее явления я не мог.

И вот, сидя там с книгой под сенью березы, в зной и в прохладу, при свете дня и во тьме ночи, сдружившись с десятками всяких насекомых, я размышлял о природе любви. На меня медленным дождем падала какая-то труха, и белый разворот книги, подолгу раскрытый на одной странице, покрывался желтыми листиками, сосновыми иголками, микроскопическими увядшими цветочками, а я сидел, сгорбившись, и предавался горестным мыслям. Горестным – потому что ничего радостного в этой нашей любви я не видел. Да, были краткие мгновения радости, которые дарили нам первые минуты встреч, но все остальное – мучительное томление и ожидание неизвестно чего. Я часто ловил себя на том, что каждую минуту, даже каждую секунду думаю о ней. То есть она жила в моем сознании постоянно, с утра до ночи – едва я просыпался и до тех пор, пока не засыпал. Чем бы я ни занимался, о чем бы ни думал, она незримо присутствовала, от ее присутствия я никакими средствами не мог избавиться, она главенствовала во всех моих делах и развлечениях. Это было как тяжелая психическая болезнь – как навязчивая идея, от которой невозможно отделаться. Ничто не могло дать мне удовлетворение, доставить радость – потому что она мрачной тенью всегда нависала надо мной, закрывая солнце. Так что периоды сна я воспринимал как спасение. Во сне я мог забыться, наконец, расслабиться и отдохнуть от навязчивых мыслей. Но едва я просыпался, как начиналось все то же самое.

\* \* \*

Я всегда хотел показать себя соседке с лучшей стороны. Но у меня, как и у многих молодых людей, были очень своеобразные представления о том, какая сторона лучшая. Мне казалось, что соседка не совсем отдает себе отчет, какой я классный и обворожительный, и поэтому я считал необходимым донести до нее эту информацию любыми способами.

Как-то мы с братом нашли на даче в шкафу шторы, совсем новые, небесно-голубого цвета. Нам показалось, что они очень красивы и их нужно использовать на манер римских тог. Мы разделись и намо-



с самого начала можешь знать, что это закончится. Непонятно только, закончится ли когда-нибудь само время. И вот я сидел в красных сумерках, курил и жалел о том, что день так быстро проходит. Соседка сидела совсем рядом, касаясь меня коленкой, была здесь, но я чувствовал, что с каждым мгновением она словно исчезает, тает во времени, и удержать ее невозможно.

\* \* \*

Наша жизнь тянулась уныло и однообразно. Это и не удивительно, ведь мы ничем не занимались. Мы не занимались, например, спортом, не играли на музыкальных инструментах, не ходили ни в какие кружки рисования. Шахматы гнили в углу, объединенные крысами, на ружьях сушилось белье, на клюшках для гольфа жарили шашлык. В общем, делать нам было совершенно нечего.

Наше существование выглядело бесцельным, как у растений в саду. Хотя вот не уверен про растения, подозреваю, что у них-то как раз были цели, в отличие от нас. Гречиха, сирень, береза, одуванчики, васильки, львиный зев и сотни других растений все-таки росли, для чего-то каждый день они тянулись к солнцу, быть может, сами не зная для чего, но все же участвуя в каком-то глобальном эволюционном плане. А вот мы, похоже, нет – не участвовали. Нам казалось, что мы ошибка природы. И уже в отрочестве осознав бесцельность и бессмысленность нашего существования, не найдя себе никакого разумного применения, мы впали в бездонную и бесконечную хандру. Забросив единственное развлечение, что у нас было – книги и карты, – мы с остервенением принялись пить, курить и валяться в беспомощности где придется. Мир стал для нас тусклым, нигде не брезжил рассвет, мы не знали, чем заняться, и все занятия тоже не хотели нами заниматься.

И вот тогда-то, когда вроде бы свет совсем уже померк, ко мне вдруг пришла влюбленность в лице моей соседки. И надо же, как ни странно, жизнь вновь обрела для меня смысл, внезапно появилась цель, и место в плане эволюции мне вновь нашлось. Рассвет забрезжил вдалеке, и теперь я смотрел вперед не как раньше, а с надеждой на светлое и счастливое завтра. И хотя это завтра, в общем-то, было иллюзией, потому что на самом деле его нет, а есть сегодня, тем не менее я тогда понял, что любовь способна дать силы и поднять отчаявшихся с колен. Пускай это иллюзия и обман, но каким же осмысленным и полнокровным начинает казаться мир.

\* \* \*

Когда я понял, что прошла любовь? Когда однажды, проснувшись с утра, я открыл глаза и увидел, что мир стал другим. Не то чтобы я увидел нечто иное вокруг и за окном, какие-нибудь там красоты, розовые восходы, райских птиц и все такое. Нет, увидел я все то же самое – облупленный белый проем окна с никогда не мытыми стеклами, древнюю паутину и всяких насекомых, запутавшихся в ней, когда я еще, наверное, не родился, стены с рваными останками пожелтевших обоев, лакированный круглый стол с банкой для окурков и два стула перед ним. С потолка свисали бумаги с поучениями и размышлениями из «Дао дэ цзин» и «Книги перемен». То есть я увидел свою привычную обитель, но точка зрения моя как бы сместилась. Я вдруг увидел все это в новом свете, я понял, что все эти вещи лишились какой-то присущей им черты, что джунгли снаружи уже иначе зеленеют и даже воздух стал другой. Поразмыслив над этим, я обнаружил, что забыл с утра подумать о соседке – как это было каждое утро в последние три года, едва я просыпался. Да, я совершенно забыл о ней. И если раньше весь мир был пропитан нею, то теперь эта пропитка испарилась, и он стал другим. Даже не знаю, обрадовался ли я тогда. С одной стороны, я испытал огромное облегчение, потому что почувствовал себя наконец свободным. С другой стороны, меня охватила странная глубокая печаль. Впрочем, тоже приятная.

Ну, вот и все, что я хотел рассказать. Глупая, в общем, вышла история.



## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я никогда не видел своего деда Михаила Васильевича Нечаева. Он ушел из жизни в 48 лет в январе 1941-го от мучившей его с детства астмы. Поэтому мне так дорога эта его повесть. Она позволяет взглянуть на деда его собственными глазами, причем в возрасте, лишь немногим старше уже моих внуков.

Повесть написана в 1937–1939 годах, когда дед уже тяжело болел, о событиях его юности и молодости – 1910–1917 годах (в публикацию вошли лишь записки о событиях до 1912-го).

Это не книга воспоминаний и не дневник, хотя напоминает его по форме и использует дневниковые записи тех лет. Это исповедь юноши, мятущегося, ищущего свое место в жизни и испытывающего массу проблем из-за тяжелой болезни. Книга – повествование человека, который хочет быть полезным обществу и в итоге решает стать земским врачом, чтобы нести людям благо здоровья, культуры и просвещения. И Михаил поступил в итоге на медицинский факультет университета, окончить который помешала гражданская война.

Не хочу превращать предисловие в изложение содержания повести. Читайте! Помимо редкой возможности взглянуть на интереснейшее предреволюционное время глазами очень тонко чувствующего мир провинциального юноши, вы получите и подлинное удовольствие от сочного, яркого языка автора в описании человеческих характеров, в зарисовках купеческого и помещичьего быта и картинок природы.

В повести несколько основных линий – семья, любовь к отцу, романтические отношения с избранницей, гимназическое окружение и, наконец, уникальное описание самого времени. Приведу лишь один пример. Михаил рассказывает, как он и его друзья-гимназисты переживают за здоровье Л. Н. Толстого, ушедшего из Ясной Поляны и заболевшего в дороге. Они с волнением и тревогой ждут доставляемых вечерним поездом московских газет, выстраиваясь в очередь к единственному в маленькой Вязьме газетному киоску. А после кончины Толстого устраивают не поминальный молебен, а гражданскую панихиду с чтением биографии писателя и очерка его литературной деятельности, обсуждением протестов Толстого против религии, солдатчины, войны. И завершают вечер пением «Вечная память» и неожиданно «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

Особая тема в повести – семья Нечаевых и их многочисленная родня. Позволю себе небольшой

экскурс. У истоков одной из семейных линий стоит впавший в царскую немилость и в итоге четвертованный бывший близкий соратник Петра I – боярин Кикин. Его боярской вотчиной было село Кикино Смоленской губернии, ставшее малой родиной деда. Одна из представительниц опальной и обедневшей боярской семьи Анастасия стала верной женой отца деда – Василия Петровича Нечаева, принесла в качестве приданого полуразрушенный дом в Кикино. Сам прадед был классический *self made man*. По семейному преданию, после смерти его отца многодетная семья обнищала. Мать дала старшему сыну Васе гривенник и отправила завоевывать мир. Начав с мальчика на побегушках, прадед стал Юхновским купцом 2-й гильдии, а главное, уважаемым человеком. Построил первый каменный дом в том самом Кикино. Дом жив и по сию пору, и в нем много лет размещается школа. В. П. Нечаев был церковным старостой и на свои деньги построил один из приделов местной Архангельской церкви. Я рад, что односельчане ухаживают за могилой прадеда.

Родители деда были людьми глубоко религиозными и патриархальными. Образование детям дали хорошее, но увлечение деда музыкой и живописью считали блажью. Став в этой части самоучкой, Михаил Нечаев блестяще рисовал (с гордостью и радостью держу на стенах дома его работы), дружил со многими известными художниками и неплохо музицировал.

Ангелом-хранителем деда стала жена, первая и главная любовь его жизни Лидия (для него – Лидусенька) Герасимова – моя будущая бабушка. Так случилось, что сестра деда вышла замуж за брата отца бабушки, почему она в шутку называла своего мужа «дядюшкой». В записках – трогательная история их знакомства и зарождения чувства. Лидия помогала Мише с плохо дававшимся ему в гимназии немецким. Первая успешная проба своих сил на педагогическом поприще в итоге привела ее к профессии учителя. Она стала известным в СССР педагогом, заслуженным учителем РСФСР.

Дед тоже был всю жизнь преподавателем химии и совсем далек от писательского ремесла, но, несомненно, обладал литературным даром. Не хочу навязывать вам впечатление, но у меня на сценах тяжелой смерти его отца или припадков астмы юного Миши, когда он прощался с жизнью, на глаза наворачивались слезы.

Буду рад, если повесть найдет в вас благодарных читателей. Она того заслуживает.

*Андрей Нечаев*





у чугунной решетки лестницы большой валдайский колокол. Захлопали крышки парт. Стайками уходят из класса, сразу повеселевшие, оживленно беседуя. И только я, новый для этого класса – я второгодник, – грубо оторванный от своих грез, выхожу из класса один. Я не знаю, куда себя деть в такой погожий день.

Пойду пока домой, а там видно будет.

Я жил недалеко от гимназии в тихом переулке, начинавшемся напротив парадного гимназии. Уездный город оканчивался в этом месте клином огородов.

Напротив одного из огородов был небольшой трехконный домик с небольшим двором, тенистым садом, с собакой Муратом, с котом Васькой, где я имел комнату со столом.

Я занимал крошечную комнатку, в которой еле уставлялись постель, маленький столик, корзина, табурет, да оставалось шага три прохода. Вся прелесть была в том, что я имел свою комнату, подобие письменного стола. Я пользовался здесь абсолютной свободой. Моя хозяйка видела во мне взрослого человека, у которого на плечах «своя голова». Я это очень ценил и всегда оправдывал доверие.

После обеда я очутился у раскрытого в сад окна. Погода стояла удивительная! После двухдневного похолодания и дождей вернулось летнее, немного грустное, тихое тепло. Деревья еле тронулись золотом. Везде была какая-то особенная тишина, какая бывает только в уездных городах после обеда.

Преддверие осени...

Городской сад был невелик, тенист. На средней главной аллее сбоку стояла раковина-эстрада, два раза в неделю играл военный оркестр. На музыку собиралась публика и ходила по аллеям сплошной толпой, подымая пыль.

Был буфет. На тех, кто сидел в буфете, смотрели с завистью, а те, кто пользовались его благами, оглядывали проходящих мимо небрежно-бездушно и даже нагло сияли.

Бывал в саду и я. Удовольствий в городе было мало: кинематограф (электротheater) – 30 коп. и сад – 10 коп. Ясно, что в саду бывал чаще.

Как-никак послушаешь музыку, встретишься со своими ребятами, знакомыми гимназистками. Всякий раз, когда идешь в сад, думаешь, что случится чудо, что ты встретишься с кем-нибудь, кто станет твоим другом, твоей любимой, но... Но ведь для этого не нужно было стесняться, нужно было быть общительным, не «лазить в карман за словом».

Когда я пришел в сад, то гулянье было уже в разгаре. Играли какой-то вальс. Я сразу же наткнулся на своего одноклассника, и мы затерялись в толпе.

– Ты выписал слова по-латыни? Сегодня трудный урок. Я еле разобрался. После лета как-то с удовольствием учишь уроки. Между прочим, я тебя видел на вокзале. Куда это ты ходил?

– За город. Я люблю бывать за городом.

– Нашел место!

Мы замолчали. Интересы у нас были разные. К нам присоединились еще гимназисты, и мы свернули в боковую аллею, где и уселись на свободной лавочке.

– Ребята, не видали моей Катеньки? Ух, и будет мне сегодня!

– Поаккуратней курите! Здесь математик ходит.

– До чего ж не хочется начинать заниматься! Опять на целый год заводится волынка.

– Да, жизнь не сказать, чтобы...

А мимо сплошной толпой шла публика. Я машинально слушал разговоры. Вот идут две вяземские мешаночки, лет по 18. Они оживлены.

– Знаешь, вот тут оборочка (показывает мизинчиком), а там воланчик. Ну, прямо восхищение!

Их сменяет парочка: она дочь купца, дорого и безвкусно одетая, он – купчик в котелке, с тросточкой, весь сияет.

– Я бы на месте извозчицей лошади упал перед вами на колени! Ха-ха-ха!

Проходит акцизный чиновник с геморроидальным лицом со своей дебелий супругой. Оба чем-то недовольны.

– Сверху разоделась фу-ты ну-ты, а небось белье в дырах, – ядовито бормочет она, сверкая глазами.

Идут два офицера.

– Ну, дал я ему 30 вперед. Взял свой киек и давай устраивать разгонную – дюжины две пивка осушили.

Две гимназистки взволнованно объясняются.

– А я ему и говорю, почему я должна уступить? Нет, ты скажи, почему?

Скука. Из нашей компании двое уходят пить пиво, остальные – гулять, и около меня остается один Венья.

– Ну как, Михайла? Идем домой, что ли. Скука здесь. Дома хоть почитать можно.

– Нет, я посижу, послушаю музыку.

– Ну, как хочешь. Заходи.

Венья – мой сосед и человек, к которому я привык, с которым мы часто ходим за город и о многом беседуем.



Он ушел. Уже стемнело.

– Миша, здравствуйте! Пойдемте с нами.

Я не успел опомниться, даже вздрогнул слегка. Меня подхватили Вера и Катя. Вера, высокая брюнетка с японским лицом, разговорчивая, трескучая, начала меня осypать вопросами.

– Как лето прошло? Занятия вовсю? А у нас уже сочинение задали. Не достанете ли мне пособие? Вот автора-то забыла! Ну, я напишу тогда. Что поделяете, что читаете? Где пропадаете?

– Сегодня я был за городом, – сказал я. – Если бы вы знали, как там красиво сейчас, как тихо.

– А вы куда ходили? – спокойным контральто спросила Катя, полная блондинка с карими глазами на круглом красивом лице, с тяжелыми косами.

– По железной дороге, к Панину. Ведь скоро осень. Кое-где желтые листья, как седые волосы.

– Э, да вы поэт! – подхватила Вера.

– Ну, что вы, – смутился я. – Это я так просто...

– Давайте-ка все вместе прогуляемся за город, – предложила Катя.

– Почему мы живем так разрозненно, – вскипела Вера. – Нет того, чтобы собраться вместе, почитать, поспорить, послушать музыку, потанцевать. Вон как в других городах. А то все врозь и врозь. Давайте организуем какой-нибудь кружок.

Мысль хорошая, нам она понравилась, и мы решили ее обсудить как следует.

Веру и Катю отозвали от меня, и я снова остался один. С завистью посмотрел я им вслед. «Чуда» не совершилось. Надо идти домой.

Городская библиотека помещалась на главной улице. Она – мой друг. Именно там я познакомился с Шопенгауэром, Геккелем, Дейгем, Кропоткиным, Айхенвальдом, Ивановым-Разумником, Горьким, Куприным, Арцыбашевым и многими другими открывавшими мне глаза на мир. Сколько бессонных ночей я провел за чтением Гарина, Короленко, Горького, Вересаева, Андреева, Бунина, Зайцева, сборников «Знание». Раз в неделю я появлялся в низкой большой комнате, разделенной проволочной решеткой, как в винной лавке. Роешься в абонементе, выписываешь себе книги и берешь. Меня приметили и считали самым аккуратным и «большим» читателем. Давали иногда книги, не занесенные еще в абонемент.

А я читал, и мой кругозор расширялся. Моя молодая память удерживала в себе целые эпохи, сцены, абзацы. Я знал, что значит Островский, Мельников-Печерский, Мамин-Сибиряк, Потапенко, Салтыков, Успенский. Я знал, где черпать материал о купечестве, о разночинцах, о дворянстве. О революции.

И ко всему этому у меня было какое-то свое отношение.

Тихо снуют за проволочной сеткой между полками книг в войлочных туфлях библиотекари...

Верстах в пяти от города находилась Алферовская учительская семинария. Состав учащихся в ней был разнообразный. Здесь были и такие, которым в свое время не улыбнулась жизнь. Были и такие, которые пошли на учебу, ясно отдавая себе отчет в этой работе, которая предстояла им впереди на трудной «ниве просвещения». Среди них были такие, которые знали, что нужно нести «в народ».

Естественно, что среди алферовцев существовали нелегальные кружки, иногда из их среды арестовывали одного-двух.

Однажды Веня сказал мне, что у него будут гости – алферовцы, и пригласил меня. Был вечер, когда я зашел к нему. У него были двое, которые при моем появлении замолчали.

– Это – свой! – заметил Веня.

Разговор шел о настроениях среди гимназистов и о возможности организации среди них кружка по развитию самосознания.

– Руководить таким кружком не будет никто. Мы только дадим вам программу, ну и книги, если вы их не достанете. Пусть лучше их будет меньше, но зато эти люди должны быть проверенными.

– Место собрания обязательно нужно менять и объявлять о нем перед самым собранием.

Пили чай, горячо беседовали, с загоревшимися глазами. Почувствовали какую-то спайку. Когда алферовцы уходили, то долго трясли руки и договорились, что Веня и я через недельку придем к ним со списком членов кружка и их характеристиками.

Когда я ушел от Вени, то долго думал над этим делом. Мне чудилось, что я приступаю к чему-то огромному.

В следующее воскресенье стояла золотая осень. После раннего обеда мы отправились к алферовцам. Они очень радушно нас приняли. Мы ходили гулять, получили от них отпечатанную на гектографе программу, нас снабдили букетами цветов и долго провожали.

Следующие дни принесли нам тревогу. Инспектор гимназии, встретив меня, строго сказал: «Но я знаю, что ты был в Алферовской семинарии. Не приведет это к добру. Чтобы ты больше, слышишь, туда не ходил!»

Я был удивлен. Откуда он знал, что я там был? Я сказал об этом Вене, и мы вспомнили, что нас обогнал на извозчике один из общих с нашей гимназией

учителей. По-видимому, он и донес. Мы решили держать себя осторожно.

Еще через пару дней стало известно, что среди алферовцев были обыски и аресты и что арестован один из наших знакомых.

Мы решили подождать с кружком, пока все успокоится.

Дали домашнее сочинение: Онегин и Печорин. Впервые сознательно, по-своему, я запоем писал его. Для меня ясен был образ «лишнего человека» на фоне русской действительности. Горел, когда писал. С нетерпением ждал его выдачи.

Преподавателем по русскому у нас был странный человек, носивший кличку Сапожник. Грубоватая внешность, сизый нос, фельдфебельские усы, рыжие волосы сжигали. Кроме учрежденных учебников, ничего не признавал.

Вот и выдача. Рецензия: «Автор не знаком с Саводником. Поменьше умничания, побольше внимания урокам».

Оценка двойка. Точно ушат с помоями вылили. Я ушел в свою скорлупу и хотя по-прежнему много читал по литературе и критику, в дальнейшем пользовался только Саводником.

А попутно развивалось другое. Математику у нас преподавал Иван Федорович (Шпонька!). Рассеянный, рыжеватый, беззлобный человек, про которого у нас ходили анекдоты. Он пришел раз в гимназию без сюртука, утирал меловой тряпкой нос... Предметом он владел в совершенстве и часто в уме решал сложные задачи, приводя класс в неистовство.

Была дана классная работа по алгебре: решение задачи с объяснением. Когда выдавали письменную, Иван Федорович сделал вступление:

– Самая лучшая работа, господа, – это работа Нечаева.

Класс остолбенел. Иван Федорович пел мне хвалебный гимн, а я сидел точно в тумане.

Скоро я сделался, благодаря маленькому поощрению, хорошим математиком, к крайнему удовольствию моих «камчадалов».

Точно выросли вдруг у меня крылья, точно почувствовал я вдруг в себе силу. И странно было видеть в четвертных отметках среди круглых троек (а то и двоек – история и немецкий) пятерку по математике.

В домовй гимназической церкви идет всеношная. Как ни борется гимназическое начальство за обязательное посещение служб (свободы завоеванной с 1905 года), многих старшеклассников нет.

Я пою в хоре. По обыкновению, в перерывах или думаешь о чем-либо, или вполголоса разговариваешь с соседями, пока не получишь замечания от регента.

Идут ирмосы. Следующие, басы, начинают с верхнего «до». Мне показалось, что регент, Иван Васильевич Коротков, смотря через синие очки, взмахнул камертоном, и я ОДИН в сравнительной тишине церкви гаркнул... и смолк. Лунообразное, изрытое оспой лицо Ивана Васильевича побагровело:

– Ты что, ошалел, что ли?

Вокруг меня хохочут в кулак до слез, до потери сознания. Стоит сдержанный хохот и в рядах. Смущенно закрывает рот директор.

После всеношной встречает меня «батя» (о. Михаил) и спрашивает шутливо:

– Ты что ж, Миша, обоснулся малость?

*Строчки из дневника.*

Сентябрь 14.

Вся жизнь скучная-скучная... Сегодня туман. Дышится трудно. Люди все хмурые, злые и я злой. На душе такой же туман...

Я так одинок... Мне хочется чего-то большого, светлого, а дают маленькое, грязное, пошлое.

Мои ребята в восьмом классе. Встречаемся, но между мной и ими чувствуется какое-то охлаждение. У них свои интересы, которыми я жить не могу, не понимая их. Новых товарищей я не подобрал. Один только Веня меня не бросает, спасибо ему.

После долгого молчания с оказией прислали из дома письмо. В нем пишут исключительно о деле, да печалются о моих успехах. Странно, что этим делом и оканчивается. Интересов общих у нас нет. Мои «переживания» их не касаются. Блажь!

Брат в университете. Как он там, какое у него настроение, чем он живет – не знаю. Его коротенькая открытка содержит такие факты, которые меня не интересуют (был там-то, видел того-то)...

Преподавал физику и заведовал физическим кабинетом бесцветный преподаватель П. Физику знал плохо, аппаратуру и того хуже, к тому же был и неаккуратен. Опытов он не любил; они у него не удавались.

Гимназисты на опыты шли как на балаган.

Физический кабинет, довольно богатый, занимал две смежные комнаты: в одной хранились инструменты, другая служила аудиторией.

Нас изредка «гоняли на опыты». Мало сидели тихо, обычно занимались своими делами. А сзади всегда

была компания, которая рассказывала друг другу анекдоты, и оттуда несло сдержанное ржание.

На этот раз ставились опыты по теплоте. Первый раз нужно было зажечь прекрасную спиртовую лампу Бартеля с металлическим, гнущимся по желанию, шлангом. Лампа упрямылась и наконец с легким взрывом зажглась. П. отпрыгнул, потом зачем-то отвернулся, а шланг и зацепился у него сзади за сюртук. Нам видно, что это не опасно. П. очень испугался и кричит, как зарезанный:

– Отцепите лампу! Отцепите лампу!

Его зачем-то схватили, обняли, чуть не повалили, издевались над ним всячески и наконец отпустили. На этом опыты и кончились...

Шурка Л. носился по всей гимназии и всем, захлебываясь, рассказывал:

– У П. к ж... лампа Бартеля прилипла!

В конце октября месяца 1910 года все газеты вдруг сообщили об уходе Л.Н. Толстого из Ясной Поляны. Это было для многих неожиданно.

Сначала неизвестно было, куда он ушел. Газетные писатели начали свистопляску: одни говорили, что Толстой не выдержал и уехал каяться, другие писали, что Толстой обанкротился в своих философских взглядах... Потом неожиданно стало известно, что Толстой на ст. Астахово и очень болен...

Все, кому дорого было имя Толстого в нашем городке, терпеливо ждали экстренных выпусков газет, прибывавших из Москвы по глубоким вечерам с курьерским поездом.

Газетный киоск стоял около городского сада. От него вилась очередь человек в 50. Улица была пуста. Кой-где освещались витрины магазинов. Было тихо, и только изредка тархтела извозчиця пролетка.

По небу неслись рваные осенние облака. Лист осыпался, и деревья сада голы. Дул резкий ветер. Я стоял в очереди, дрожал и думал «что-то там?»...

Именно в это время сформировался наш кружок. Штудировали Геккеля «мировые загадки». Не все серьезно относились к делу. Широкоплечий К. часто моргал, глаза у него слипались, хотелось спать. П., когда дело доходило до «полового» вопроса, вдруг неистово начинал ухмыляться и ржать. Все же чтение продолжалось, сознание будилось. Думали перейти после Геккеля на политические темы и руководителем хотели пригласить кого-то из депо.

В это-то время умер Толстой.

Мы решили отметить его смерть гражданской панихидой.

Достали портрет Толстого. Украсили его красными и черными лентами и повесили на стене. Стройный, белобрысый К. прочел его биографию, я – общий очерк его литературной деятельности. О его философических взглядах говорили вскользь, напирая главным образом на его протесты против религии, солдатчины, войны и т. д. Нам Толстой именно этим и был дорог.

После строгих докладов мы торжественно встали, обернулись к портрету и запели «Вечную память». По обыкновению, К. и П. стало смешно, но строгий взгляд Вени привел их к порядку.

А после, постояв тихо, совсем неожиданно запели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Осенью начиналась серия вечеров, проводившихся в зале женской гимназии: это общий вечер мужской гимназии, то женской, то восьмиклассники «прощались», то восьмиклассницы...

Вечера эти оживляли нашу скучную жизнь, вносили разнообразие. Готовились к ним заранее: чистишься, одеваешься, причесываешься. Задолго до начала появляешься в женской гимназии. Там еще уборка идет после занятий.

Я обычно был участником оркестра балалаечников, где я прошел все стадии. Давным-давно настроен инструмент, а ты все пробуешь его, хотя и знаешь, что он чуть не полмесяца держит строй.

Мы – участники концертного отделения, собираемся в классе около эстрады. Мы видим, как зал постепенно наполняется, оживляется. В первом ряду «цвет» нашего городка. Волнуешься.

Начинается концерт. Номера следуют по программе. Вот и наша очередь. Впереди многоглазый зал. Кажется, что все смотрят на тебя. Стараешься вовсю...

Концерт окончен. Сейчас начнутся танцы. Этим временем – таков был обычай – гимназистки старших классов (если это их вечер) устраивали в складчину чай и угощали всех, кого они желали угостить. Для меня именно эти минуты были жуткими. Я старался прицепиться к кому-нибудь и завести оживленный разговор, и в то же время, казалось, что я настолько чужд моим коллегам, что они могут забыть про меня.

Но вот к тебе мчатся в развевающихся нарядных коричневых платьях твои друзья. Сердце падает. Я краснею.

– Миша, милый, идемте! А мы-то ищем вас!

Я извиняюсь перед товарищем, и меня под руки торжественно ведут в свой класс. А там пир горой. Тут и преподаватели, и родители. Меня торжественно усаживают, за мной ухаживают, на мне

останавливаются столько милых глаз... Может быть, произойдет «чудо»?

Ожидают танцев. Вот-вот начнется вальс. И когда мы входили в зал, дрогнули вдруг огни ламп, и раздался торжественно вальс. Сразу образовалась цепочка.

– Ну что ж, начнем?

В руках ласковая девичья рука. Под другой рукой талия. Несемся с Верой крупными кругами – она так любит. Легко кружимся, перебрасываемся незначительными (а может быть, и значительными) фразами.

Льются звуки. Дрожат огни. Сияют тебе навстречу загадочные глаза-звезды...

И так проходит бал. Скоро конец. Кого проводить? Может быть, кататься поедом. Вот П.З. говорит что-то и указывает глазами на меня. Вот летят ко мне навстречу две Веры...

У именитых по городу купцов С. был домашний вечер. Ставили своими силами водевиль. Предполагались танцы.

Я был приглашен туда. Сперва я было отказался, а потом пошел.

Я был обласкан «самим» и «самой». Они знали и уважали моего отца. «Сам» усадил меня чай пить с собой. Я чувствовал себя не особенно удобно.

– Как Василий-то Петрович поживает?

– Благодарю вас, ничего.

– Ох, голова большая! Знакомы с ним. Вон моя его-за. Прошу быть знакомы.

Егоза – его дочь Глафира. Это была крупная девушка кустодиевского склада, с какими-то зелеными глазами.

Я смутился, когда она прямо и серьезно глянула на меня. Глафира завладела мной на весь вечер.

«Сам» сказал:

– Ну, вот тебе и кавалер, Василия Петровича сынок. Хорошей семьи! Да...

– Я вас никогда не встречал.

– Я нигде не бываю. Учусь я дома. Папа к знакомым очень разборчив. У нас почти никто не бывает.

Завязался разговор. Он прошел с пятое на десятое. Оба мы узнавали друг друга. Глафира как-то жадно спрашивала обо всем: о гимназии, о моем времяпрепровождении, о любимых книгах.

Спрашивал ее и я. Узнал, что она любит Бетховена (сама играет), любит Чехова, Л. Толстого. Любит природу, одиночество, свои думы.

Она привела меня в свою комнату. Я видел перед собой ее русское круглое лицо, большие косы, слышал ее спокойный низкий голос.

– У меня почти нет товарищей. Я как-то все один. Мне все кажется, что я могу быть лишним. –

Я смутился. Почему это я вдруг начал человеку, которого впервые вижу, выкладывать себя.

– Да, я понимаю это, – как-то задумчиво сказала она.

Из зала доносились звуки рояля, там танцевали. Пошли и мы.

– Как я рада, что мы встретились! Теперь вы будете бывать у нас, мы будем много говорить, мы будем ездить с вами к нам на дачу. Я знаю, что папа ничего, против обыкновения, не будет иметь против.

Я чувствовал ее, державшую себя с таким достоинством и в то же время такую для меня нужную.

«Что это? То, чего я желал в своей жизни? Чудо?» – думалось мне.

Я глядел на нее. Видел ее зеленые глаза и отводил свои. Она это замечала, отворачивалась, еле заметно вздыхала.

Был ужин. Мы сидели рядом. «Сами» покровительственно глядели на нас. Мне было неудобно.

...Нужно было поддерживать знакомство с Глафирой. Я уже грезил ею, будущим. Идти же к ним мне казалось неудобным. А время шло. То вдруг я собирался, одевался и сейчас же остывал. А вдруг меня спросят «что вам угодно?». Ведь могли же позабыть про меня. Не Глафира, нет, а ее родители. И визит откладывался.

И когда я, встретив ее случайно на улице, обрадовался ей, радостно поклонился, готовый бежать к ней, то в ответ получил еле заметный гордый кивок.

И сразу что-то заняло внутри. Я почувствовал, что Глафира ждала, потом расценила по-своему нашу встречу и ушла от меня навсегда...

Некоторые гимназисты давали уроки: одни по соображениям материального характера, другие рекомендовались преподавателями, как лучшие ученики.

У меня личных денег почти никогда не было. Старшие дома считали, что это баловство. Из-за каких-нибудь рубля-двух велась нескончаемая переписка, и наконец присылали с оказией, если это нужно было на книги, фуражку и пр. Если деньги просились на театр, на карточки (иногда мы снимались с преподавателями), то отказывалось.

Такое положение было обидным, ставило меня в неловкое положение перед товарищами, и мое самолюбие очень при этом страдало. Я решил взять урок.

Он вскоре представился; нужно было репетиторствовать с сыновьями аптекаря К. Оба они были в младших классах. Занимался я с ними ежедневно по два часа и получал за это 11 рублей в месяц. Я относился к делу серьезно, и мальчики, оба серьезные и славные, сделали за первый месяц большие успехи.

С какой радостью я получил первые свои и такие большие деньги – три трешницы и два по рублю! Они часто по вечерам вытаскивались из заветной коробочки, и начинались мечты, что купить...

Когда дома узнали, что я даю уроки, прислали письмо с намеком, чтобы я помогал, но я послал им письмо и тоже с намеком, из которого вытекало, что я могу и, пожалуй, совсем не прочь жить самостоятельно со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дома замолчали.

Так как мои ученики в конце второго месяца получили четверки, то от урока мне было отказано. На заработанные деньги я бывал в театре, купил акварельные краски, рамки для карточек на стол, коробку почтовой бумаги. Деньги таяли.

В это время мне предложили другой урок, длительный, до конца года. Нужно было репетировать двух девочек у одной вдовы-портняжки. Я взял его, хотя ходить туда было очень далеко, через весь город.

Особенно мучительно были эти путешествия в сильные морозы. Идешь и ног не чувствуешь; они околели и звонко стучат. Стучат и галоши, и кости... Мороз лют. Дым вьется вверх. Захватывает дыхание. Шинель не греет. Руки околели.

Каким раем кажется точка пребывания в комнатах. Вдова, Агния Петровна, жалела меня, часто угощала чаем. Она после урока старалась поговорить со мной. Я привык к ней.

Сидишь и смотришь, как склонилась над шитьем ее русая голова, как быстро мелькают ее красивые полные руки.

– Жизнь-то прожить, Миша, не поле перейти. Мой-то покойный муженек попивал здорово. Бывало, под пьяную руку и мне колотушек надает, да и ребятам. Вот по-вашему как ладно выходит: и дружба, и любовь, и согласие. А в жизни-то, думается, и не встречается этого.

– Ну, а тогда и сходитесь нечего, – горячо говорю я. Агния Петровна поднимает на меня свои лукавые глаза и разражается искренним смехом. На розовых щеках у ней ямочки.

– Ну, какой вы глупенький! Совсем несмыслота!

Она меня обескураживает своим смехом. Я сержусь.

– Что ж, по-вашему, наплевать можно! Проповедь Толстого о непротиивлении злу только усыпляет человеческое достоинство. Ведь так вот и полуются рабы...

Она перебивает меня. Горячо перебивает.

– Дома-то у родителей тож не сладко жилось. Да и скука. А тут что-то новое. Тож ведь жить хоте-

лось. А вы говорите, какое-то непротиивление злу. Нас не спрашивали, хочешь ли ты идти замуж, а вот тебе муж, да и с богом: стерпится – слюбится.

Что с ней разговаривать – не стоит. Я умолкаю. Собираюсь уходить. Она подает мне ласково свою руку и, кладя работу на стол, идет меня провожать.

Однажды была сильная метель. Я уж думал не ходить на урок, но потом пошел. Она всплеснула руками, увидев меня.

– Ну, не сумасшедший ли вы, Миша! Ну зачем же вы пришли в такую погоду. Замерз небось...

Захлопотала с самоваром, а я начал заниматься с девочками.

– Я вас не отпущу назад. Вы останетесь ночевать у нас.

Мне представился обратный путь, и, пожалуй, я был рад остаться.

Пришла ее подруга-соседка, бойкая бабенка, которую я иногда видел у них.

– Ты его с собой положи! Соскучилась небось! – смеясь, сказала соседка.

Меня резнула эта фраза и взволновала. Но Агния Петровна после урока напоила нас всех чаем, была как всегда приветлива и задумчива. Это успокоило меня. После чая я все-таки пытался уходить, но меня удержала Агния Петровна.

– Простудитесь! Смотрите, ни зги не видно. А я уступлю вам свою кровать. Узнаете мои душки. – И она коварно улыбнулась.

Я ушел домой...

В городок приехала драматическая труппа. Ставили: «Дни нашей жизни», «Дети Ванюшина», «На дне», «Анфису». Я бывал на всех спектаклях. Передо мной открывался новый мир, который заставлял меня переоценивать ценности.

Деньги таяли. Отдалялась и моя мечта о приобретении хорошего охотничьего ружья.

*Строчки из дневника.*

Декабрь 9.

Нет, это возмутительно. Новый проректор запретил курить, круто восстанавливает дисциплину и т. д. Скоро сортир забьют совсем! Это черт знает что такое! Кажется, хочет устроить обязательное хождение в церковь. Дудочки-с!..

Снова ввели форму. Завоеванные в 1905 году «свободы» отбирали одну за другой. Запретили носить широкие пояса, черные брюки. Расставались со скандалами.

У меня были темно-серые брюки. Издали они производили впечатление черных.



Однажды меня встречает новый директор.

- Вам нужно переменить брюки!
- Почему?
- Потому что они черные!
- Нет, они серые!
- А я говорю, черные!
- Нет, серые!

Меня пригласили в директорский кабинет, поставили перед окном стул, на стул меня и тщательно рассматривали мои брюки. Они оказались серыми.

Меня с каким-то неопределенным бормотанием отпустили. Я гордо вышел из кабинета.

Вот и рождественские каникулы! Я забыл все недоразумения с домашними и с восторгом ехал домой, в село Кикино.

Я слишком ждал этого, слишком волновался и когда с поезда подъезжал по хорошо знакомой дороге к селу, я знал, что астмы мне не избежать: чувствовалась не предвещавшая ничего хорошего тоска, похолодели ноги, дыхание стало каким-то свистящим. Казалось, что в этом виноваты валенки, тулуп, меховая шапка. Это они меня душили, стесняли.

Я слегка распахнулся и закурил. Стало как будто легче. В это время лошади брали перед въездом михалевскую гору. По бокам чернели елочки и голая земля в обрыве.

Вот оно, Кикино! Я жадно вглядывался во все. Подымалась где-то внутри радость, но она не могла победить тоски...

Вот крыльцо, встреча, радость домашних! Горячий чай растопил холод ног, свистящего дыхания нет, и я хорошо несколько раз откашлянулся.

- Как же поживают М.? Что бабушка?
- Всё также, здоровы, кланяются. Ну, а у нас что нового?
- А что ж? Да ничего... Вот зима нынче снежная.
- Кто у мамы на именинах будет?
- Да всё те же. Должен приехать Михаил Александрович (зять). Придет брат Николай, Ефросиния Дмитриевна (акушерка). Ну, а больше-то никого звать не будем.

Я оглядываю родных. Папа и брат в только что прибывшей почте. Мне хочется переговорить с братом о Москве, об университете. Вот сестры, вот мама, тетюшка! Как давно я вас не видел. Серый кот, мурлыча, трется о мои ноги, подняв хвост трубой.

Мама ни с того ни с сего потрогает, тепло ли я одет.

- Тепло, право, тепло, мама!
- Смотри не простудись!
- Что-то ты вроде похудел, – замечает тетюшка.

– А ты вот займись Мишуткой, – веско говорит отец. Мама рассказывает:

– Послезавтра думаем баню. И уборку верха. Низ в сочельник уберем.

Чай отпили. Я и Сергей идем наверх. Плохо, что коридор холодный. Да и сортир... От печи жарко, а снизу дует.

– Расскажи же про университет. Как там, что?

– А что ж про него рассказывать! Я редко там бываю. Все есть в книгах. Я тебе не писал про своего нового приятеля А. Н.? Во, брат, парень-то!

И брат начал рассказывать, как они увлекаются выжиганием, французской борьбой. Рассказывал, что к ним ходят две хорошенькие гимназистки...

Да... Это не то! Какие-то мы разные.

Снова что-то запало внутри, снова свистящее дыхание.

Собирают ужин. Я уговариваю себя поменьше есть. Все наши в Филипповке едят постное, а для меня вареная солонина, студень, хрен, каша с молоком. Я ем понемногу.

Мама трогает мою голову своей шершавой рукой и говорит:

– Ай, ты нездоров?

Кладут спать меня наверху в темной комнате. Там жарче и очень мягко. Проснулся в 6 часов утра с приступом астмы. Хочется откашлянуться, но кашель мучителен и еще больше осложняет дыхание. Немного болит голова. Теперь я все равно не засну...

Именины мамы проходят торжественно. Вечером обычные мамини гости. Приехал из Румянцева зять Михаил Александрович.

Эту ночь я не сплю уже с часу. Во мне все хрипит, стонет. На лбу холодный пот. Голова тяжелая и ломит. Все мышцы окоченели. Одеревенели и похолодели ноги. Я сажусь, укрываю плечи одеялом. Тянется бесконечно время, и дыхание все трудней и трудней. Начинает теряться представление о времени. Я исключительно в своих страданиях. Дышать порой так тяжело, что мне хочется метаться.

Мое сердце слабо и часто колотится. Обычно я его не ощущаю, а сейчас... Вот оно.

Шея одеревенела. Больно локтям, опершимся на колени, больно и коленям. Пронизывает холод всего меня.

Вот сорвался с ритма, закашлялся, заметался, захрипел и посинел. Вытянул руки вперед, встал. Там, выше, думается легче. Мне страшно. Что это – конец?

Только теперь заметил, что уже ночь. Разговаривают о том, что я очень плох. Послали за доктором. Ждут священника. Принесли из церкви икону Серафима Саровского. Никто не спит...

Мне трудно. Я еле сдерживаю свои страдания. Так снова хочется метаться. Я забылся...

Меня причащают. Я безучастно гляжу на всё, крещусь. Что ж: конец так конец! Мне все равно теперь. Ни одной мысли в голове, только мои страдания...

Снова плохо. Снова начал метаться. Подумал, что поскорей бы смерть...

– Давайте впрыснем морфий. Это последнее средство, – говорит доктор.

Помчались в больницу. Ночь глухая. Вижу около себя шприц. Еле слышна боль укола.

Ах, как хочется спать! Как все одеревенело. Как хорошо вытянуться и заснуть. Но спать невозможно. Я задремал. Снова очнулся. Я слабым голосом, медленно попросил придвинуть к себе стол и дать мне маленькую подушку.

Приятно... Засыпаю... Я не знаю, сколько я так сплю. Дыхание много легче. Снова засыпаю. Я слышу, как во сне меня переключают на диван как следует, вытягивают ноги, тепло укрывают. Я хочу протестовать, но очень удобно телу, оно отдыхает, одеревенение и холод куда-то отступают. Я глубоко вздыхаю и крепко-крепко засыпаю...

Теперь мое дыхание свободно. Я наслаждаюсь сном и сплю, сплю. Будить меня доктор не приказал. Меня вырвали из приступа злейшей астмы...

Когда 23 декабря утром с именин мамы отъехал Михаил Александрович, нехотя пошел снег. К вечеру он разошелся, а ночью закрутил как следует.

Вторые сутки свирепствует метель. Сугробы выростали на глазах. Теряется представление, где низ, где верх. Проезжих нет.

Завтра Рождество. В доме идут торопливые приготовления. Тетушка с Авдотьей хлопочут на кухне: поджаривают ногу тельца, опаливают гусей, запекают окорок под коркой из черного теста.

К Авдотье приступу нет – опара не подходит. Она знает, что ругаться в сочельник не полагается, но...  
– У, пралик тебя задери! – Это она на опару.

Кучер Исая Иванович носит воду. По двору ходить – что по полю: снег вровень с крышами.

Когда он пошел за водой в последний раз и вернулся, воды в кадке не оказалось. Он смутился и даже потрогал обручи. Не потекла ли кадка? Нет, на полу сухо, обручи целы.

– Ну-ну! – пробормотал он, закуривая и покачивая головой.

Наверху наводился последний лоск. Расстлались для чая и закусок белые, слегка подкрахмаленные скатерти. Расставлялась чайная посуда, накладывалось варенье и пр.

На закусочном столе горкой возвышались тарелки, стояла целая выставка водок, настоек, вин, горчицницы, солонки, перечницы. Лежали чинно ножи, вилки, салфетки.

В зале в углу под образами поставили трехногий столик с белой салфеткой. На нем маленький подсвечник с восковой свечой, ладанница. Это для завтрашнего молебна.

Во всех комнатах лампы зажжены.

К четырем часам начинается сумерки, и верх наполняется лиловыми сумерками. Наивно разноцветно светятся лампы. Везде свежо, тепло, уютно и изобильно.

Пришел грузный о. Иосиф с одышкой, пожаловался на «собачью» погоду и прямо приступил к делу.

– Христос рождается, славыте!..

– Рождество твое, Христос боже наш...

– Дево днесь...

Эти простые, с детства знакомые песнопения создают ощущение праздника. Он наступает бездумно, радостно, с ожиданиями чего-то необъяснимо-сладостного, что волнует, подбадривает. Астма моя миновала.

Когда стемнело, то садятся в прихожей обедать. Не ели «до звезды»! Старшие, садясь, глядят с верой в окно и истово крестятся.

С детства знакома эта легенда. В Вифлееме родился в пещере маленький Христос. Волхвы с дарами пришли ему поклониться. Путь им указывала звезда, скользившая перед ними по небу. Сонмы ангелов славили его рождение. Я лез маленький на диван, смотрел в уголок на замершие окна, видел большую звезду. Она, по-моему, и была «вифлеемской». Я тихо слезал и благоговейно напевал: «Слава в вышних Богу...»

На первое подали тюрю (квас с редькой и конопляным маслом), потом грибной суп без масла и каша с «сытой» (мед, разведенный на кипяченой воде).

Я ходил на спевку. Когда пришел, то приехали с «почты». Выпустили совсем замершего в башлыке, плохо одетого Алексея Хомяка-почтаря. Как он ездит в такую погоду!

Алексей снял сумку и представил ее в мое распоряжение. Ему поднесли водки, дали хлеба, огурцов и рубль деньгами.

Я быстро разбираю почту. Вот «Русское слово», вот «Нива», «Современный мир». Целая серия писем, открыток, визитных карточек.



Алексей уходит. Сообщаются новости.

- Маня и Андрей Андреевич приедут через Румянцево за день до Нового года. Все живы и здоровы.
- Румянцевские поздравляют с праздниками и сообщают, что за мной на второй день пришлют лошадь...

У меня свои новости. Вот пишет Коля А. Скучает, не знает, куда себя деть. Целая куча поздравлений от товарищей и товарок. Но все это официальное. Нет ничего сердечного, кроме письма Коли А.

Звонят к утрени. Я иду в церковь. Нога вязнет в пушистом холодном снеге. В церкви много народу, кашляют, сморкаются, вздыхают. Постепенно она все больше расцвечивается огнями.

Служба идет торжественно. Хор вступает с «Ныне отпускаеши...». Праздничны лица крестьян. Всклощенные обычно волосы сейчас уложены и смазаны маслом. Шеи утопают в шарфах, в новых дубленых полушубках, в тулупах. А как сияют глаза!

К концу службы как будто в окна немного светлеет. Чувствуется усталость от бессонной ночи, жара, духота. Дремлется...

Внизу в столовой ярко горит «молния», по праздничному показывая сервировку стола.

Толпами приходят «славить» ребятишки. Они, задыхаясь, еле выговаривая, спешат:

*Рождество твое, Христос Боже наш,  
Возсиями развет разума  
В нем бо звездам служащи  
И звездой овчачуся...*

Моя мама, глубоко верующий человек, стоит в беленьком платочке и крестится. Ребят одевают медными деньгами.

Наряднейший Исай Иванович вносит фырчащий самовар и всех поздравляет хриплым голосом с праздником.

Все чинно усаживаются за стол. Подается пирог с мясом, наливается чай, и начинаются разговоры:

- Что-то служба скоро кончилась!
- Да ведь отец Иван служил!
- Всегда летит, пес его знает! А куда торопится, – вставляет тетюшка, ковыляя к чайному столу, держась за стулья.
- Пейте, пейте, а то скоро попы придут!

На второй день Рождества, часам к десяти, заехал за мной румянцевский староста Никита Михайлов. Он приезжал к отцу на праздник в деревню, которая от нас недалеко.

То, что приезжал он на хозяйской лошади и, следовательно, пользовался доверием, очень ему импонировало!

А лошадь была Абрамка, вечно жеребая белая кобыла. Эти «абрамки» не переводились в Румянцеве: от одной рождалась другая, от другой – третья и т. д. Отличительными их чертами были: отвислая губа, большой живот, белая (сивая) шерсть, трудолюбие, неприхотливость, но в то же время и жадность на корм и... покорность судьбе. Рысы у них не было никакой, но и на горку не станет.

Михалыча я дождался. В Румянцево на елку собиралась своя молодежь: было весело, катались, гуляли, ставили домашние спектакли. Было бесхитростно и привольно. Меня там любили. Едва ли не главным было то, что там меня считали за взрослого, выслушивали серьезно мои рассуждения, возражали мне как равному. А это было приятно!

Никита Михайлович торопил меня. Нужно было доехать «завидно». И вот, одетый в тулуп, валенки, меховую шапку и рукавицы, я усаживаюсь на мягкое сено в маленькие санки, обминаю его, ноги заворачиваются полостью, и мы трогаемся.

Едем мы долго. Разговоры наши кончаются около Куприянова, до Позднякова передумашь обо всем и знатно подремлешь. Вспомнишь гимназию, товарищей, дом, обсудишь свою жизнь...

Дышишь чистым воздухом, видишь унылую равнину с редкими перелесками. Дует поземка; если бы не вешки, то и дороги не заметно было.

Издредка встречи. По случаю праздников едут в гости в нарядах, обязательно с Ванятками и Маньками, у которых видно только пуговка-нос. Сопровождает лохматая собачонка.

А ехать еще далеко.

- Ну, а как Михайла Иванович?
- Ничего живет. Тут как-то сороку убил из берданки. Далеко взяла. Он все такой же. Вроде за Настькой приударяет.
- За какой Настькой?
- Да из Никуленок, за Курначихиной дочкой. В дойках она. Да... Вот какие дела-то...

Опять замолкаем и едем, едем.

Вот наконец Александрина сторожка. Нас с лаем встречает гончий старый пес Добор. Сам Евсеич, тип старого доезжачего, мой спутник по летней охоте, стоит с трубкой на крыльце и приветливо здоровается.

- Василич! Зайцы одолели!

Где-то во дворе визжит поросенок, видно, его кормят.



принца. А царевна увидела его треп (так в рукописи. – *Прим. ред.*), бросилась к нему, и слезинка, чистая, большая слезинка упала из ее глаз. Ей нельзя было плакать. Не стало больше царевны, и вместо нее поднялась красивая белая лилия.

Прочла и задумалась. Красивая сказка. Грустная, плакать хочется. Откинулась на стуле и чувствую, что вся дрожу. Это было со мной первый раз в жизни. М. заметил это и встревоженно спросил, что со мной. Я не могла сказать, да это и не нужно было, так как М., кажется, догадывался. Вышло объяснение. Я не верила этому и откровенно сказала. Тогда М. встал, серьезно задумался и глухо сказал: – Так я... уйду. Прощай! – и направился к дверям.

– Миша, вернись, я верю! Я...

Миша бросился назад, стал на колени и разрыдался. Плакала и я, глядя его голову.

– Да, да, я счастлива, я верю...

Как близок и дорог стал он мне...

С каким-то отчаянием я выхожу из дому, в котором осталась Л. Вон у ней свет в комнате. Воротиться разве? Постоял и пошел на вокзал.

Чудо свершилось, но обстоятельства гонят меня от моего счастья, от моей милой девушки... Я устал от всех переживаний последних дней, мне надо обдумать случившееся, надо поверить, что все это произошло не во сне. Надо поверить, что произошло не чудо, а быть...

Мчится скорый поезд от моей девушки. Я перешел из душного вагона на площадку. Сзади мягко маячит в тумане красный огонек заднего вагона, впереди над паровозом полыхает зарево, а мимо бегут пятна грязного водянистого снега и проталин. Как странно! Нас разделяет шестьдесят километров... Зачем это? Почему мы не можем быть вместе? Что это, судьба?

Начался Великий пост. Без пятнадцати минут девять раздастся оглушительный звонок. Нужно идти на молитву.

Отворяются громадные двери домового гимназической церкви, и она быстро наполняется гимназистами всех возрастов и дежурным начальством. На левом клиросе хор. Как всегда, поют «Царь небесной», «Преподобный Господи».

А вот и новое. На амвон входит дежурный старшеклассник и отчетливо читает:

– Господи, владыка живота моего...

Это значит: скоро весна, воля... Опускаются на колени.

– Эй, Господи, царю даруй...

Снова расходятся по классам. Снова звонок. У кафедры дежурный класс гудит. Начинается день – «косой» понедельник.

Уроки идут томительно долго и скучно. Те же скучные лица преподавателей. Все судорожно позевывают и смотрят на часы. Кой-где беседы вполголоса о весело проведенной масленице.

Я сижу, гляжу в окно, и в мыслях мое счастье. Я боюсь его анализировать. Я только ощущаю его. Ощущаю и еще раз переживаю, как все случилось. А случилось как-то неожиданно...

– Ну, вы дальше, – говорит полная француженка, обращаясь ко мне.

– Что дальше? – недоумевая, спрашиваю я.

– Переведите дальше...

– А где остановились?

– Вы же так пристально по книге следили. Сами должны знать!

Я следил по книге? Я был мыслями в Румянцеве! Я вспоминал свою дорогую девушку!

– Я не могу. У меня голова болит. – Я сел.

– Странно...

Я снова вижу ее, брызжущую весельем, остроумную, задорную, в то же время тихо-ласковую, любящую возиться с детьми...

Звонок. Конец.

После обеда «с грибами и изюмом» я не знаю, куда деть себя. Мне не сидится. Мне нужно куда-то идти, нужно вспоминать. Мое счастье слишком велико, широко! Я – не один!

На улицах тот же туман, капли. Они меня теперь не беспокоят. Наоборот, я как будто другими глазами гляжу на природу. Я чувствую, что наступает весна. И это ощущение, давно забытое, так гармонирует с основным моим настроением. Мне легко. Мне хочется куда-то бежать, петь...

Я не знаю, как очутился в соборе. Шли мои любимые покаянные мимофоны Андрея Критского. Народа было мало, и это не мешало мне слушать службу и думать, думать...

Старичок-священник в черной ризе тихо, печально и просто говорит:

– Ты еси пастырь добрый. Ты еси создатель мой, и в тебе, Спасе, оправдалось!

– Помилуй мя, Боже, помилуй мя! – печальными аккордами вторит большой хор, согреваемый октавой.

Хрупкие звуки тают под куполом, где уже все затянута сумерками. Я буду беречь мою девушку. Я ей дам много-много счастья!

Я тебя как царевну украшу!  
Я сокровищ достану тебе без конца.  
Жемчугами твой стан опояшу  
И чело твое радостным блеском венца!  
– Ты еси сладким Иисусе и мне заблудшему, яко Петру, руку прости!  
– Помилуй мя, Боже, помилуй мя!  
За окном гаснет день. Что-то она сейчас делает? Думает ли обо мне? Вспоминает ли?

Судьба свела двух одиноких, двух так тяжело переживавших это одиночество, совершенно своеобразными путями раскрывшихся навстречу друг другу, порой друг от друга так далеко отходивших, что трудно было думать о том, что произошло.

В полумраке светилось мне лицо моей девушки. Лицо, которое меня вчера провожало: немного удивленное, грустное. В глазах дрожало столько нежности! Одна слезинка, маленькая, незаметная, ползла по раскрасневшейся щеке. Предстояла первая разлука. Разлука, когда мы даже наговориться толком не могли...

– Так что, господин, церковь сейчас затворять будем.

Я вздрогнул. Передо мной стоял высокий сторож собора. Служба кончилась. Никого не было в соборе. Свечи потушены. Только в алтаре слышны неясные голоса.

Я тихо направляюсь к выходу. Я осторожно, бережно, через весь город несу внутри свое счастье домой, чтобы дома за письменным столиком сказать далекой девушке о нем, тихом, большом, неожиданном!..

В старших классах классным надзирателем был Евгений Степанович В.

Маленького роста, всегда опрятно и добротнo одетый, с чистым носовым платком, подстриженный, он производил вполне порядочное, не в пример прочим халдеям впечатление. Красивы были его глаза черные, лучистые, с лаской. Для того чтобы быть выше, он носил непомерно большие каблуки, и это было его слабым местом.

Темные, слегка непокорные волосы, усы и борода придавали ему задумчивый вид.

Про свое прошлое он говорил глухо. Говорил, что он был офицером одного из аристократических гвардейских полков, откуда пришлось уйти из-за какой-то истории. Этому можно было верить, так как он хорошо знал быт военных, знал массу анекдотов, имел хорошие манеры и знал, скверно произнося, французский язык. Во всяком случае «на прапорщика армейского» он не был похож.

Между нами, старшекласниками-гимназистами, и им установились товарищеские отношения. Мы

сразу поняли, что он любил прямооту и не терпел лести.

Время нажима и репрессии давало себя чувствовать, и в нашем маленьком мирке частенько созревали протесты. Евг. Степ. понимал нас! Он никогда не лез на рожон, хотя и мог бы.

Курили мы в сортире. Бывало за окнами неуютно, а в нашем клубе весело и тепло потрескивают дрова в камине. Стоишь задом, греешь руки, куришь и думаешь про свое. Идет нудный урок где-то! Вдруг скрипит дверь. Видна голова Евг. Степ. Он, конечно, видит, что ты куришь. И никогда не сделает замечания.

– Что же не идете на занятия?

– Я сейчас!

И все.

Доходило дело до того, что некоторые ребята, не шокируя его, просили у него папиросы, и он давал.

По долгу своей службы он должен был посещать вольные гимназические квартиры. Об этих посещениях он всегда предупреждал. Посещения превращались в интересные беседы. Собирались ребята, и Евг. Степ. много рассказывал из жизни военных.

Однажды был такой случай. Были именины у кого-то из ребят. Здорово выпили и когда разошлись, одного порядком развезло. Провожать его никто не стал, и он пошел один. Сперва он шел весело, говорил сам с собой, орал песни. В это время он пробирался глухими переулками. Выйдя на Калужскую, он вдруг ослаб, расстегнул пальто и, держась за заборы, еле-еле переставлял ноги. Было поздно, и ночь была видная.

В таком-то состоянии на него набрел Евг. Степ. Он пришел в ужас. Гимназист в таком виде! На одной из главных улиц!

Последовал диалог:

– Вы откуда?

– А-а-а! Евг. Степ., здорово!

– Откуда вы в таком виде?

– А с именин. Вот (тяжелый вздох) ослаб, дойти не могу.

– Вы знаете, какой вы подвергаетесь опасности? А если бы вы с кем-нибудь встретились?

– Ну-у! Какой дурак так поздно пойдет!

Евг. Степ. решил больше не разговаривать, а, подвергая и себя, и его опасности, довел «этого идиота» до дома и начальству об этом случае ничего не сказал.

Однажды у нашего класса шла пикировка с французенкой. Мы ее даже из класса выгнали. Несмотря на все ухищрения администрации, конфликт ликвидировать не удавалось, – мы не хотели просить

извинения у взбалмошной бабы. Мы даже устроили «бенефис» Евг. Степ., и, когда он гневный, взволнованный, дергаясь лицом от обиды, начал нам кричать: «Мальчишки! Вы не умеете ценить хорошего к вам отношения» и т. д., то класс молча выслушал. Встал наш делегат и тихо сказал:

– Евг. Степ., вы напрасно принимаете это на свой счет. Это протест против режима и тех, кто его поддерживает. Лично к вам, вы знаете, как мы относимся, и вы напрасно обижаетесь.

Евг. Степ. внимательно выслушал, подумал, махнул рукой и во все время конфликта (а дело дошло до округа) не входил к нам в класс, а стоял в коридоре и ничего не доносил директору. Никто не знал, что говорилось на нашем собрании.

Мы это очень ценили.

Я сижу в 7-м классе повторно. Все мои близкие друзья стали очень далекими. У них свои интересы, они озабочены окончанием гимназии, готовятся к выпускным экзаменам и хотя при встрече со мной очень приветливы и радушны, но все же чувствуется, что они живут своими заботами, для меня непонятными.

Правда, среди нового состава, к которому я присмотрелся, были ребята, с которыми я чувствовал себя хорошо, к тому же были и второгодники вроде меня. Большая же часть класса для меня была непонятна.

Среди них была аристократия – с хорошими манерами, всегда шикарно одетая, с белоснежными воротничками и манжетами. Они со школьной скамьи готовили себя то в Лицей, то в Институт восточных языков. Откуда-то к ним проникал душок этих учебных заведений.

Была бесцветная прослойка, жившая сегодняшним днем, без интересов, тусклая, серенькая, как стертый двугривенный.

Несколько человек первых учеников держались «богами», к которым не было доступа, и все свои слова они ценили на вес золота.

Внеклассное свое время я, таким образом, убивал у соседа своего, ушедшего вперед от меня, Вени К., и своих одноклассников Миши Ж., Семена Пр.

Уже несколько лет подряд Венья К. живет у дряхлых старушек-сестер. Были они когда-то замужем: у одной фамилия Тычкина, у другой – Неверова. Обе бывшие гоголевские чиновницы, нюхают табак. Маленькие, кругленькие, розовенькие, с мутными старческими голубыми глазами. Они очень любили преферанс по вечерам, и частенько, сидя у Вени, я слышал, как одна из них восклицает:

– И пять без одной!

С Веньей мы готовились в Специальное учебное заведение по математике и физике. Его мечтой была Петровская сельхозакадемия, моей – путевский институт (Гарин виноват!). С Веньей мы говорили о дружбе, о политике, о гимназии, о товарищах, о любви... Венья терпеть не мог попов, полиции и начальства. Суждения свои высказывал прямолинейно и грубо и пользовался уважением среди товарищей. Скрытный, со мной он был откровенен.

Сын богатых лесопромышленников, он имел деньги, но костюмы его, даже для вечеров, были просты. На ногах сапоги, топорщащиеся брюки, серая рубашка, широкий пояс.

Соседом его по комнате был гимназист 6-го класса Ванька «Здыркин», сын мельника. Было в его наружности что-то важное, квадратное. Ходил он слегка прихрамывая, с палочкой, жаловался на ревматизм. Ваня старался быть умным и оригинальным. Частенько его можно было видеть с книгами по философии. Постучав по ней ногтем, он с пафосом, своим красивым баском, встряхнув шевелюрой, говорил:

– Вот книга-то! Читал?

И уничтожающе смотрел на собеседника, чувствовавшего себя неловко.

Любил Ваня и поговорить, причем в споре вставлял изречения вроде «Не станет карлик выше оттого, что Голиаф был прадедом его» (Ибсен).

Себя причислял к нигилистам, был поклонником Ницше, а в политике склонялся к анархистам.

Однажды он начитался Арцыбашева «У последней черты». Начал восхвалять его героев, которые, очертя голову, звали к наслаждениям жизнью.

– Половым, добавь! – вставлял Венья.

Герои звали после наслаждения к уходу из жизни. Ваня говорил, что «У последней черты» должна быть настольной книгой каждого здравомыслящего человека, его евангелием.

Мы убеждали его, что он проповедует абсурд. В жизни есть борьба, проистекающая из неравенства. Лучшие умы – революционеры по разному подходят к разрешению этой проблемы. Особенно глубоко и дельно развивают свои положения марксисты. Ваня слышать ничего не хотел, твердил как попугай, свое: жизнь мерзка. Личные наслаждения только в вине и женщине, а остальное жалеть нечего... Уходить надо, друзья, в небытие!

Венья серьезно обращается тогда к нему:

– Почему ты не начнешь с себя? По твоим рассказам, ты баб знал много, пожил, насладился. Ну и баста!

– Ну, видишь ли, я не обладаю таким сильным характером, чтобы самому покончить с собой.



- Да, вон что! Боишься?
  - Не боюсь, а не могу. Понял?
  - Так-так. Давай тогда я сделаю это.
- Ваня бледнеет. Веня решителен. У него нож охотничий – медвежатник; он вытащил его и, хмуро любясь им, говорит:
- Сделаем так. Ты пиши записку, что в смерти прошишь никого не винить. Чего ради тебя кто-то будет отвечать! Мы идем с тобой в лес «Заказ», и там я тебя ухлопаю. Хоть и ничего ты парень, но надо же помочь тебе. Слова с делом не расходятся!
- Бледный Ваня начал бормотать что-то невразумительное, нечленораздельное, руки и ноги тряслись. Тогда Веня решительно и даже грубо сказал:
- Так вон что! Трус ты; мелкий, жалкий трус. Чтобы ты в нашем присутствии никогда больше не молол этой галиматии. А если услышу, что ты еще где-нибудь «проповедуешь», то расскажу все как было! Понял? И убирай свое «евангелие» ко всем чертям!
- Арцыбашев исчез. Ваня ходил хмурый и с нами почти не разговаривал, отчего мы не особенно страдали.

Шла весна. Готовились к экзаменам. Моя девушка писала, что она в отчаянии: на носу выпускные, а она устала и совсем не может заниматься. Письма ее вообще были неровные. То она была ласкова и любяще писала о многом, то вдруг появлялись мрачные нотки, письма были лаконичные, и этим она доставляла много неприятностей. Я старался, как мог, ее утешить, сам невольно заражаясь ее пессимизмом.

Утро страстной субботы. Служба идет в «настоящей» церкви. Служат соборно у плащаницы посреди церкви. Плащаница благоухает розовым маслом. Около подсвечник со множеством горящих свечей. Песнопения чередуются со чтением о жизни и учении Христа. Служба торжественна, величавая, грустна и заставляет задуматься о бренности людской.

Я, как всегда, на хорах. Оттуда, в перерывах между песнопениями, смотришь на толпу вниз. Задумаешься, и тогда двоится в глазах. Моя девушка прислала мне поздравительное, большое, волнующее письмо. Зовет к себе! Соскучилась...

Вдруг под хорами столб дыма, пламя, смятение, свалка. Кого-то поднимают, кто-то охает, но служба бесстрастно идет своим чередом. Пахнет сильно жжеными перьями.

Дело, оказывается, в том, что моя двоюродная сестра Мария Николаевна, человек весьма рассеянный, задумалась и зажгла свечой, которую держала в руках, свое боа. Боа вспыхнуло. Ее начали тушить, сби-

ли с ног, повалили, катали по полу и, когда затушили, то была Мария Николаевна вся в грязи и жалкая.

Так и пошла домой...

С Пасхой, думалось, кончилась хорошая погода! В тот день и вечер, когда я, украдкой от своих, был у своей девушки, так по весеннему все развернулось кругом, что загорели лица, дурманом наполнились головы, ко сну клонило.

Я видел своего друга, вволю наговорился с ней, держа ее, такие дорогие, руки в своих...

И вот снова разлука, снова неприятности... Дома что-то нехорошее с отцом, в гимназии была письменная работа по немецкому, от которой я не жду ничего хорошего (а она решающая!)...

*Пошел дождик со снегом...  
Небо свинцовое... Небо холодное...  
Дни без уюта, тепла.  
Доля свободная, доля отрадная  
В даль без возврата ушла...  
Небо угрюмое... Мрак заливающий  
Горечью душу мою,  
Сердце раскрыть бы хоть в песне рыдающей  
Юность оплакать свою.  
Крепко обнять бы родную, любимую  
В ласках всю боль потерять,  
Жизнь одинокую, жизнь нелюдимую  
Всю ее, всю рассказать!*

А. Винсон

*Из дневника 26 апреля*

Снова настала хорошая погода, вернулась весна. Вовсю шли экзамены.

Ждали солнечного затмения. У меня был день подготовки к математике, которую я знал великолепно. Вопреки всем традициям, я уехал на этот день домой, и затмение мы наблюдали в саду около бани. Туда же вывели и больного отца. Он был плох.

Была безветренная погода, парило, но ему, оде тому по-зимнему, было холодно. Отец был недоволен этим и попросил себя отвести в дом. По-видимому, течение болезни было серьезно, что всех нас опечалило.

К вечернему поезду отвезли меня на станцию. Настроение у меня грустное.

Угасал день. В воздухе стало свежеть. Загорелись звезды. На платформе я встретил Наташу Е. Она радостно поздоровалась со мной, и мы пошли по платформе. Она была одета по-домашнему. Видно было бумажное ласковое платье. На голову был накинута белая пушистая платок.

С участием взглянули на меня ее простые глаза.

- Чего вы сегодня такой грустный?
- Много причин, Наташа. Папа очень болен. М.б., сегодня он был последний раз в саду, им возвращенном, любимом. Подумайте, последний... А кругом весна, жизнь, теплынь, его любимые пчелы жужжат. Ему вроде все это не нужно теперь, может быть, даже больно. Ужасно жить и чувствовать, что есть что-то внутри, что тебя ежеминутно заставляет прислушиваться к себе и ждать...

Кругом, посмотрите: заря, вот-вот оденется лес, травка, весенний холодок! Ведь это молодость! Такая, как вы! Вы в своем интимном костюме, благоухающая по-девичьи, в полном рассвете всех ваших хороших сил, здоровья... Вы подумайте, Наташа, как это ужасно...

Шли мы под руку. Слегка прижавшись ко мне, наклонясь вперед, она молча слушала.

Действительно, от нее веяло чем-то свежим, теплым, успокаивающим и то же время грустным. Тепло было от ласковой бумазейки, вязаного платка, грусть была во влажных живых глазах, в задумчивом бесхитростном профиле.

Она не утешала меня, как обычно водится в таких случаях. Она просто и молча слушала, всем своим существом сочувствуя мне.

Подходил поезд. Со вторым звонком я вскочил на площадку вагона, и скоро поезд медленно тронулся.

- Приезжайте, когда вам будет тяжело! – застенчиво крикнула Наташа.

И долго, пока поезд не скрылся за поворотом, стояла одинокая, глядя мне вслед и думая о чем-то моем.

Через Солдатскую слободу шел за город. Встретил Дашу С. около ее дома. По обыкновению, стала обо всем расспрашивать.

Она, очевидно, стирала, т.к. руки ее были красны, рукава блузы закатаны по локоть.

Она тихонько, в шаг со мной, пошла. Очень огорчилась болезнью папы, моими плохими успехами по немецкому. Мы прошли прудик. Невольно мне бросились в глаза ворота, густо смазанные дегтем, – чья-то месть девушкам, живущим в этом доме.

Вышло как-то так, что я начал рассказывать Даше один случай из своей жизни, который характеризовал любовь ко мне отца.

- Мне было лет 10–11. Тогда моей мечтой было ружье – Монте-Кристо, которое я видел у Богдановых – и даже стрелял из него, и фотоаппарат размером 4 1/2х6. 0 большем я не мечтал. Если бы все это купить, то нужно было бы рублей 17–20. Их, конечно, у меня не было, и мечты оставались

мечтами. В то же лето я особенно часто бывал в бараночной, которая находилась у нас в подвальном помещении. Я любил смотреть на то, как делают баранки, как их пекут. Там я поверял свои заветные мечты.

И вот однажды хозяин бараночной собирался в ближайший город Вязьму. Шутя, а быть может, серьезно сказал мне:

- Доставай денег, привезу! Будет тебе и ружье, и аппарат.

Мечты мои загорелись ярче. Где достать денег? Попросить у родителей – не дадут.

Я был как-то в лавке. У нас там есть полки, на которых стоит варенье. Под этими полками – сундук и на сундуке, я раз обратил внимание, жестяной ящик от монпансье. Он не был прикрыт и в нем лежал холщовый мешок. Я знал, что в таких мешках держали деньги. Там оказалось и золото, и кредитки, – много денег. Меня ударило в жар. Вот бы взять 20 рублей! Только 20 рублей... Но я не взял, хотя мысль об этих деньгах глубоко засела. Во сне я стрелял из ружья, снился фотоаппарат. Я рано просыпался и грезил этими вещами. Я стал, как больной.

- Ну, завтра еду! – сообщил мне бараночник.

И вот в этот-то вечер я не совладал с собой. Я взял оттуда 20 рублей и трясущимися руками передал их бараночнику. Я – вор... Мне казалось, что за мной следят. Я часто беспричинно вспыхивал, вздрагивал, когда ко мне обращались. Испытывал ужасные муки и, если бы можно, я положил бы эти деньги обратно. А в то же время я ждал возвращения бараночника. Как бы я пользовался этими вещами?

Приехал бараночник, ничего мне не привез, да еще и денег не отдал. Пригрозил, что скажет отцу. Что я тогда переживал. Моя душа с яркими мечтаниями была оплевана.

Началось вымогательство. Неси, мол, еще денег. А то скажем отцу. И я носил, носил неоднократно. Носил с каким-то тупым терпением.

Однажды мать хватилась этого ящика. Обнаружилась недостача денег, не было больше 200 рублей.

- Василий Петрович, ты брал деньги из ящика?
- Нет, что ты.
- Нет денег-то, посмотри!

Проверили, ужаснулись. Деньги были большие по тому времени и церковные. Кто же взял?

Я заметил, что дома что-то неладно. Упал духом, и мне было нехорошо. Я предпочитал не жить.

Однажды меня зовет в лавку мать. Вот и все! – подумалось мне. Ноги мои ослабели. Внутри была пустота. Выступил пот. Я пошел.



- Ты брал отсюда деньги?
- Брал... – потупился я.
- Куда ты их дел?

Я все рассказал, как было. На меня пока не обратили внимание. Пошли к бараночнику. Хотели привлечь его за вымогательство, но он, испугавшись, отдал почти все деньги. Родители были рады такому исходу дела и вот теперь-то обратили внимание на меня. А я ждал правосудия и ходил сам не свой. Что тогда переживала моя маленькая душонка?

Даша взволнованно пожала мою руку. Я закурил папиросу. Воспоминания были слишком сильны. Я огляделся. Мы были за городом. День клонился к вечеру.

- Снова меня вызвали. Я знал, что будут драть. Об этом особенно настаивала мать. Я вошел в лавку. Около стойки стоял отец. Он был взволнован.
- Что же ты наделал, сынок? – Губы его дрогнули, и он заплакал.

Я кинулся к нему в ноги с воплем. Точно меня прорвало. Я долго носил свое горе, оно стало мне не по силам.

- Простите меня! Простите! Я не могу больше...

Я не знаю даже, что после было. Когда я очнулся, то я сидел на ящике из-под чая. Судорожно всхлипывал.

- Иди, – сказал мне отец.

Начались ужасные дни. Все знали, что я – вор. Я всех чуждался. Все мои детские радости отошли куда-то, и я целыми днями сидел где-нибудь, ничего не делал, тупо уставившись в землю.

Мое состояние заметили. Относились к этому по-разному.

- Мишутка нехорош! – говорил отец.
- Так ему и надо, подлецу! – восклицала мать.

Отец посмотрел на дело иначе. Он видел, как меня угнетает этот проступок. Он знал, что должна быть разрядка. Как человек верующий, он затеял поездку в Великополье. Там, говорили, была чудотворная икона. Кстати, был Пост. Решили там говеть. И вот запрягли лошадей в линейку и отправились: он, я, Елена, Серафима, Вера Андреевна и, кажется, Шура. Взяли с собой продовольствия. Ехали тихо. Отец и я шли пешком. Он старался меня ободрить. Говорил, чтобы я «поисповедовался», покался перед Богом в своем грехе. Я его слушал, и во мне росла какая-то надежда, что не все еще потеряно, что, может быть, жить и можно.

К вечеру приехали. Село было живописно. Погода была хорошая. Я устал. Остановились мы на постоялом дворе. Стали пить чай. Отец ушел к священнику. Я по-прежнему был один, как зверек, чуждался

своих. Думал, что я всю душу свою выложу завтра на исповеди и вымолю прощение. Ночь спал плохо. Мешали думы и муки. Утро было цветистое, свежее. Звонко разносился благовест. Мы пошли в церковь. Мне показали икону. Она была небольшая, стояла налево, украшенная добровольными подношениями, вся в лампадах.

Я стал в уголок и по-своему, по-детски горячо молился.

Между утренней и обедней всех нас исповедовали. Отец как-то так устроил, что я был последним, и в церкви никого не было. С каким страхом я подошел к аналою. Я искренне, как только мог, рассказал священнику все-все, со всеми подробностями. Я старался не плакать, но голос мой дрожал, и невольные слезы ползли по лицу. Я растирал их своими худыми руками.

Началось обедня. Я снова молился. Молился ли когда-нибудь еще с такой «верой». Пропели «херувимскую», «Милость мира». Приближалось причащение.

Когда священник вышел с чашей и начал говорить «Вечери твои тайные...», мои глаза затуманились слезами. Я сложил руки на груди и чуть не вслух сказал:

- Господи, прости меня!

Вот и причащение. Я отхожу. Меня встречает радостно отец.

- Ну, поздравляю тебя! Телу на здравие, душе на спасение!

И тут снова меня прорвало. Точно я от всего молчания и тоски последних дней старался освободиться. Слезы хлынули из моих глаз. Я уткнулся в белую рубашку отца и плакал, плакал. Я чувствовал, что это были слезы облегчения. Я чувствовал, что моя тяжесть куда-то исчезает. Я чувствовал, как меня гладит бережно по голове отцова рука. В раскрытое окно, около которого мы стояли, вливалась в храм утренняя бодрость, и слышно было ласковое пение какой-то пичужки.

- Ну, успокойся, будет, – твердил отец.

И я затих.

Тотчас же мы и уехали. На обратной дороге я повеселел. Я даже раз по-прежнему крикнул, рассмеялся, чего давно со мной не было. Я иногда соскакивал и бежал рядом с лошадьми.

Я был спасен. Отец ласково следил за мной и был все время очень ко мне внимателен.

У Даши на глазах блестели слезинки, она была взволнована.

- Какой хороший у вас отец! И как жаль, что он серьезно болен. Он поправится.

Прошли экзамены. Результаты их были для меня неутешительны. У меня переэкзаменовка по немецкому. С упавшим настроением я уехал домой.

Домашние просили меня не говорить отцу об этом.

Я получил письма от ребят, окончивших гимназию. Колька А. ликовал. Не мог раньше написать, так как не было денег на марку. Гришка Г. писал: «Победа в руках, но теперь она не кажется мне победой, настроение мое сумрачное, уезжаю в Высокое».

Моя девушка кончила с золотой медалью и прислала буйное, солнечное письмо.

А у меня была зависть к ним. Зависть и обида...

Настало лето. Потянулись дни ничегонеделья. Сначала они не были тягостными, так как почему-то хотелось сидеть, ни о чем не думать, созерцать все вокруг, и этого казалось достаточно. Но когда организм отдохнул, появилось желание что-то делать.

Тихо было дома. Другой раз, проходя по дому, не встретишь никого. Там, наверху, лежал обреченный папа. Около него и день и ночь находилась мама. А внизу были раскрыты окна, заставленные марлевыми сетками от мух.

Проходя кухней, ощущал запах печеного хлеба, какого-то варева в печи.

Наш летний престольный праздник в этом году прошел в нашем доме тихо, хотя гости и съехались. В селе было как всегда: ярмарка, карусели, гулянья, драки. Гости считали, с одной стороны, себя обязанными оказывать постоянное внимание больному отцу и делать вид, что ничего серьезного нет, с другой стороны, сидя за чайным столом в зале, куда временно была переведена столовая из-за болезни папы, держались тихо, уныло и разговоры велись вяло и вполголоса.

Старались не говорить о неизбежном, и только одна мать, горя религиозным фанатизмом, говорила о приближающейся смерти своего мужа как о роке, которого не избежишь.

Как раз перед праздником приезжала его младшая сестра, монахиня Анатолия, из Каширского монастыря, в миру Александра. Пребывая в монастыре с молодости и до старости, она решила принять схиму, совершенно отрешиться от мира и приехала в последний раз повидаться со своими дорогими близкими родственниками.

Тяжелое это было свидание. И папа, и она знали, что видят друг друга в последний раз... Когда ей нужно было уезжать, она с утра ушла к нему, и разговаривали они долго. Не странно было то, что оба пожилые: один умирающий, другая маленькая смор-

щенная старушка в черном монашеском одеянии вдруг разговорились про свою раннюю молодость. Глаза у обоих заблестели слезами, появились тихие улыбки и даже смех.

— Помнишь, Вася, как мы боялись выйти, когда ты приехал к нам первый раз после шестилетней разлуки?

— Помню, Саша, помню.

— А помнишь...

И долго вспоминали они со стороны ничего не стоящие факты своей жизни.

Но нужно было собираться на поезд. Тетушка Анатолия, мама и другие, находившиеся в комнате, по заведенному обычаю присели перед дорогой, потом встали. Тетушка угрюмо подошла к угольнику, зажгла лампадку и, став на колени, с каким-то экстазом долго молилась. Потом встала, набрала сил, резко повернулась, глянула на брата и подошла.

— Ну, Василий Петрович, прощай! Благослови меня, ведь ты старший, — и тихо добавила: — Больше мы с тобой не увидимся, мне нельзя будет, я принимаю схиму.

Широким крестом, трижды, отец, сидя высоко в подушках, благословил сестру, та поцеловала ему руку.

— Благослови и ты меня... в последний путь. — Губы отца дрогнули.

Тетушка проворно благословила, и вдруг они припали друг к другу и заплакали неумелыми грубыми голосами.

— Дорогой ты мой Васенька!

— Саша, сестрица родная!

Им никто не мешал. В комнате все держали себя тихо и так же тихо плакали.

Наконец они отшатнулись друг от друга. Тетушка Анатолия отступила два шага назад, поклонилась ему в ноги и сказала:

— Прости меня, Василий Петрович, если в чем перед тобой согрешила.

— Бог тебя простит! Прости и ты меня, матушка Анатолия!

Они расстались... Тяжело было видеть это их последнее свидание.

В румянцевском зале сидит молодежь и читает, ожидая завтрака. Некоторые уже на террасе, но там жарко. Что-то не готово у хозяек, и из-за этого завтрак немного задерживается.

Меня «вытащили» из дому. Нашли, что мне следует отдохнуть от той обстановки, которая создавалась в Кикино, и вот я в Румянцеве, среди дорогих мне людей, в спокойной обстановке. Тут же — вон она, сидит с «Войной и миром», — моя любимая девушка.

На террасу проходит Михаил Александрович, мой зять. О нем стоит сказать несколько слов. Герасимов Михаил Александрович, бывший офицер-кавалерист, он и сейчас носит белый китель, рейтузы и лакированные сапоги. На его добром лице со спокойными глазами внушительные усы. Он их холит, да они и стоят этого. Большие, пушистые, они переходят в подусники и пышными концами спускаются немного книзу.

Он молчалив. Его трудно вывести из терпения. Он понимает и любит молодежь и поэтому отовсюду, где он бывает, везет с собой кого-нибудь. Так вот он вытащил и меня из Кикино.

Отец многочисленного семейства, он очень любит детей. Им он предоставляет много удовольствий. Первые три мальчика настолько выросли, что могут ездить верхом, охотиться. Но Боже избави садиться в седло с правой стороны! Он сразу багровеет и кричит:

– Слезь, слезь, сейчас же! Ты что, на корову садишься, болван?

Сам он ездит верхом безукоризненно.

Зная мои отношения к Л., которая приходится ему родной племянницей, он единственный покровительствует этому, и когда вечером мы уходим гулять в аллею, он знает, что это до свету, и тихо говорит нам:

– Ребята, посмотрите за пастухом. Разбудите его, чтобы он не проспал.

Его просьбу мы выполняем в точности.

Поступки его не всегда практичны и предусмотрительны, отчего ему нагорают от супруги, моей родной сестры. Вот и в данный момент он неторопливо идет на террасу с садовыми ножницами подстригать виноград, который увил всю террасу.

Через некоторое время торопливо проходит хозяйка, приглашая всех завтракать.

– Михаил Александрович, побойся Бога! Посмотри, что ты наделал! Ты насорил мне и в селедку, и в окрошку. Ну неужели ты не мог сообразить? Ну просто горе мне с тобой! Нашел время обрезать виноград!

Михаил Александрович со стула смущенно оглядывает стол, видит свои промахи, как-то хрипло начинает оправдываться.

Мы наблюдаем эту картину и незаметно усмехаемся. Картина повторяется из года в год...

Один из последних вечеров в Румянцеве. На западе, после недельного складного дождя, появились малиновые проблески. Дождь иссяк. Деревья, изобильно омытые им, стояли свежими и при всяком сотрясении теряли массу крупных капель. Травы

вытянулись, укрепились, посочнели. На дорожках поблескивали чистенькие лужи. Робко в кустах орешника пробовали голоса птички.

После вечернего чая, внизу, на болоте, стоял густой туман, из-за которого в двух шагах ничего не было видно.

Я и моя высокая, худая девушка тихо брели по липовой аллее. Было сыро, прохладно, и поэтому одеты мы были основательно, в галошах. Немного тревожно и грустно поглядывали из-под по-бабы надетого темного платка ее обычно задорные глаза.

Оба мы понимали, что наша безмятежная близость окончилась; дальше шли дни молчания, переписка; мы даже приблизительно не могли сказать времени будущей встречи. Поэтому и шли мы под руку молча.

Где-то сзади, на площадке около крокета и гигантских шагов, слышались звонкие выкрики мальчиков. Здесь же было тихо.

– Вот и окончился наш отдых. Ты поедешь в Борняки, а потом снова в Кикино. Я останусь дома, буду изредка посещать сад, кинематограф, может быть, снова приеду сюда. Буду с нетерпением ожидать известий с курсов и потихоньку готовиться к Москве.

Родная замолчала. Она отвернулась от меня и, ломая рукой соломинку, стала глядеть на туман.

– Когда же ты будешь готовиться по немецкому? – неожиданно спросила она меня.

– Что же готовиться? Я все равно ни черта не понимаю в этих разных немецких оборотах. Наверное, просыплюсь, если случай не вывезет. Да и где же готовиться? Ты знаешь, какая обстановка у нас дома...

– Знаешь что, родной? Приезжай сюда, я тебе помогу. Вот ты увидишь, как тебя подготовлю.

Так просто и скоро разрешился срок нашего следующего свидания. Мы сразу повеселели. Глаза благодарно посмотрели друг на друга. И вдруг что-то радостное и могучее волной поднялось где-то внутри. Я обнял и крепко поцеловал свою родную.

Мы уговорились, что перед отъездом в Борняки необходимо встретиться в саду. Так как лошадей обещали подать рано, то оба мы боялись проспать.

Я проснулся в 5-м часу. В комнате, где спало трое. Было душно. Но когда я отворил окно, то со двора повеяло холодом и снова захотелось предательски спать. Я оделся.

Маленький городок, где жила моя девушка, в доме которой я ночевал, еще дремотно спал. Только где-то за городом, на кладбищенской церкви, зво-

нили тенорком к утрени. Наверху заскрипели двери, послышались шаги, кто-то глухо разговаривал, потом медленно сходил по лестнице вниз. Я, как воришка, высунул голову в окно. На крыльцо важно вышла маленькая ростом, с морщинистым лицом и слегка висячими щеками служка Анна Ивановна во всем черном. На голове у ней была косынка, на плечах тальма, в руках шелковый зонтик.

В это же время над городом потекли певучие звуки колокола Казанской церкви, куда собралась бабушка. Звон был так торжественен, что, слушая его, сразу ощущал начало праздничного дня.

Прошла бабушка. Я потихоньку вышел из дому и направился на огород. Лишь только я открыл калитку, как навстречу мне ослепительными желтыми лучами хлынуло солнышко. Оно играло бриллиантовыми блестками в капельках росы на сирени. И среди этого блеска и сияния знакомым белым силуэтом стояла дожидавшаяся меня моя родная девушка.

Я остановился очарованный. О, если бы я был художником! Я запечатлел бы красками на холсте этот сверкающий миг и назвал бы свою картину «Моя любовь»! С ней не могли бы соперничать разные Мадонны старых мастеров.

Легкий ветерок трепал концы белого газового шарфа, небрежно обвившего голову. На меня глядели веселые глаза.

Я бросился навстречу силуэту, бриллианты с кустов заходили мои плечи, промолив ткань рубашки.

Замерла на моем плече благоухающая дорогая головка.

– А я сейчас на бабушку нарвалась! «Ты к утрени?» – спрашивает меня бабушка. Да, если добужусь Машу Маякову, – ответила я.

Бабушка погрозила пальцем, улыбнулась и пошла.

– Почему ты не едешь в Борняки?

– Мне там не нравится.

Над городком, ни на секунду не утихая, разливался звон торжествующего большого колокола. Капли росы – разноцветные лампы. Аромат цветов – фимиам. А то, что было в сердцах наших, то была непередаваемая словами хвала кому-то высшему за красоту этого златотканного утра; хвала, передававшаяся разноголосыми хорами необыкновенной гармонии...

Нас вывели из очарования грохот колес по мостовой и мелодичные звонки-бубенчики... Это подали за мной лошадей, чтобы до жары приехать в Борняки. Я заглянул в глаза своей милой и сказал словами какого-то поэта:

*Я тебя, как царицу, украшу,  
Я сокровищ достану тебе без конца,  
Жемчугами твой стан опояшу  
И чело твоё радостным блеском венца...*

Борняки – имение в 4,5 тысячи десятин. Владельцы их – братья Шапошниковы. Один из них, старший, Андрей Андреевич (дядя Андрей), муж моей сестры Марии. Кроме него, было еще трое братьев и их мать, бабушка Анна Степановна.

Бабушка – важная, дородная особа, по виду властная, с общим тиком. Она постоянно выдумывает себе болезни, и поэтому в ее комнатах масса склянок, банок, рецептов и запахов. Любимые разговоры – про болезни. В дела она не вмешивается. Было в ней что-то от крепостного права, говорили, что она любила «рукоприкладство». Сыновья ее «уважают».

...

Вот в это имение я и катил на паре вороных в ясное утро. Катил на престольный праздник – Иванов день. В огромном крестообразно расположенном доме с центральными коридорами было прохладно и, несмотря на съезд гостей, просторно. Похоже было на гостиницу с рестораном, где каждый был предоставлен самому себе и что хотел, то и делал. Питание производилось в определенные часы.

Утрами и вечерами купались на знаменитом пруду. Днем, лежа по гамакам, читали или охотились. Впрочем, охота начиналась в точно установленный властями день – 29 июня.

Был предоставлен себе и я. То я читал запоем новые книги, не разрезанные, которых здесь было очень много. Все они ретивым Николаем были залеплены печатью.

Имение Борняки

Братьев Шапошниковых

Гжатского уезда.

Порой эта печать мешала читать, а иногда она портила хорошие рисунки. Ставилась, в общем, «с умом».

То просил оседлать лошадь и отъезжал часа на 2–3 по незнакомым окрестностям.

Вечером после купания на длинном и глубоком пруду, стоящем в лесу, с черной неподвижной водой, я любил плавать на лодке. Возьмешь, бывало, с собой огарков, прикрепив их к щепкам, зажжешь ипустишь по пруду. Красиво!

Дни проходили бездумно и молчаливо.

Под Иванов день съезжалось много гостей. Все старались попасть засветло и накануне. Была в Горняках одна языческая традиция – жечь костер богу Яриле.

Для этой цели целый год в определенное место свозился мусор. Привозили еще пуда 3 хвороста, и обливало все это керосином.

Рядом строилась «дыба». Она напоминала журавель от колодца. На длинный ее конец привязывалось старое колесо, многолетне пропитанное колесной мазью.

В это время гости шумно допивали вечерний чай и собирались беспорядочно на костер. В доме стоял кавардак, крики, смех, собаки пугливо жались к стенам.

В вышине зажглись звезды. Где-то далеко, за лесом, слышались песни по деревням. Округа встречала волшебную Иванову ночь, по преданиям, полную колдовства и небылиц.

Растянувшись по дороге шли стайками гости. Молодежь пела:

*У зари, у зореньки  
много ясных звезд,  
А у темной ноченьки  
Их не перечесать...*

Старшие говорили о делах: скоте, покосе, о дороговизне рабочих рук и т. п.

Дамы рассуждали о воспитании ребят, о «бесстыжих» няньках, о материях и людях. Исподтишка критиковали костюмы друг друга.

Мне пришлось идти среди молодежи. Я, недавно установившимся баском, негромко подтягивал остальных и думал, что интересного для меня, пожалуй, здесь, в Борняках, будет мало, и мне очень захотелось домой, к отцу, я почувствовал, что точно я по отношению к нему какой-то изменник.

Шли в темноте, по дороге-межняку (между межами, между двумя рядами по культурам смежными полями). Где-то далеко в поле бегали люди с фонарями. Это и был знаменитый костер. Около меня шла барышня из Г. Я плохо видел ее и скорее угадывал, что это родственница Шапошниковых, Лиза. Шли мы молча, пока она не споткнулась.

- Ой! Чуть не упала! И все из-за вас!
- Из-за меня?
- Да-да! Чтобы руку-то предложить!
- Пожалуйста!
- Вы верите в клады? Мне нянюшка Мария Николаевна (жена Владимира) сегодня рассказывала, что здесь есть Буева гора и в ней клад. И сколько за ним ни ходили, никому он не дался.
- Конечно, клады есть. Только при чем здесь чертовщина, Иванова ночь?
- Как при чем? Вот чудной! Что же, вы и в заговоры не верите?

– Нет. Я знаю, что «клады» находят и в другое время и без всякой чертовщины.

Лиза сожалеюще посмотрела на меня и вздохнула.

– Вы неживой какой-то! Неинтересный! За что вами увлекается Лиза, не знаю!

В это время мы подходили к костру, около которого сустились люди. Николай Андреевич отдавал последние приказания. Рабочий Солнцев, небольшого роста, плотный, с рыжими подстриженными усами, живой и насмешливый, обслуживающий в имении все машины, хлопотал около дыбы и отпускал шуточки.

– Давай тебя, Фаддеич, вместо колеса подыдем. Что тебе, кроме рваных порток, терять? Зато господа посмотрят, как ты сгоришь, – говорил он кому-то в темноте.

– Ты самого себя лучше, – глухо сказал кто-то.

– Я, брат, на воде не тону и на огне не горю!

– Зажигай! – раздалась команда.

Очевидно, было двенадцать часов ночи.

Где-то в темноте чиркнула спичка, робкий огонек едва притронулся к громадному черному силуэту будущего костра, и вдруг там длинным оранжевым языком вспыхнуло пламя, сильно дымя. Стало вдруг светло и весело. Можно было различить всех вокруг стоящих. Пламя быстро разрасталось, охватывало груды хвороста; становилось жарко.

Стоявшие по ту сторону костра рабочие девки запели какую-то подобающую случаю песню. Пели они визгливо, высокими голосами.

Я видел оживленно смеявшуюся Лизу. От огня ее глаза были живыми и веселыми. Хорошо, что она верит по-язычески. Так проще жить.

На ровной луговине около костра стали играть в горелки. Перепутались и гости, и рабочие. Девки визжали. Я видел, как Николай Андреевич, ловя их, позволял себе слишком много, но он был «хозяин», и девки безмолвствовали, сильно вывертываясь из его объятий.

Мне пришлось стоять в паре с Лизой. Бегал я быстро. За нами кто-то гнался, но мы бежали куда-то в темноту, и только ветерок свистел в ушах. Наконец нас никто не преследовал. Лиза, горячая от бега, упала ко мне на руки.

– Вот, не догнали нас! Какая всегда веселая бывает Иванова ночь.

Мы постояли немного, отдыхая. Лиза обмахивала маленьким белым платочком разгоряченное лицо и, теперь по привычке, взяла меня под руку, и мы вернулись к костру.

Мы видели, подходя, как зажгли колесо и подняли его на дыбе высоко вверх. Кипящая мазь падала сверху горящими каплями.



Солнцев удивлял «мир». Он набирал в рот керосина, выпускал его как из форсунки и поджигал. Пламя бушевало около его лица.

Костер догорал. Через него любители из парней стали с разбегу перепрыгивать.

Ну, чем не древняя Русь?

– Что-то вы долго не возвращались! Дело нечисто!

Лиза захохотала, прижавшись ко мне, а мне стало что-то неприятно. Я отошел от нее. По округе, то там, то здесь, далеко, горели костры. Это было обычаем в данной местности.

На следующий день, день праздника, часов в 10 утра начался парадный прием в «апартаментах» бабушки Анны Степановны. Сама она восседала на диване около круглого стола в пышном муаровом шоколадном шелковом платье. Оно трудно гнущимися складками делало ее еще более полной, представительной и важной. Ее с проседью черные волосы были гладко убраны под роскошной черной шелковой косынкой, края которой прикрывали плечи, а завязанные концы низко падали на грудь. При поворотах на груди была видна большая золотая брошь с бриллиантами. Такой же браслет врезался в толстую белую руку, на пальцах которой блестело несколько колец.

В комнатах, с открытым окном в сад, было темно-вато от деревьев, и для «приятности» было накурено ароматной бумагой. Солидные гости приходили к ней, здоровались, смотря по степени родства, целовались, причем она подставляла щеку, и поздравляли ее с праздником. Она милостиво благодарила. Завязывался короткий разговор.

– Как ночевали сегодня? Клопы-то не беспокоили?

– Да нет. Вот комары...

– То-то! Я велела все обварить крутым кипятком с солью. Не должно их быть. А вот меня нога что-то беспокоила, – села на любимый свой конек бабушка. – Я уж ее мазью растирала два раза ночью. Афонский прописал. Такая удачная мазь! А вон московские ничего не помогают! Нынешней зимой два раза ездила, у двух разных докторов была! Один говорит одно, другой – другое, разные лекарства дали, и ни одно не помогает. Валя, дай-ка, милая, рецепты, у меня в шкатулке около кровати!

– Погода вот сегодня хорошая, – старался гость перевести разговор, – пожалуй, после праздника и косить можно, травы поспели.

– Да, покос начинать можно, – принимая большую шкатулку, набитую рецептами, машинально говорила бабушка.

Гости менялись. Одни уходили пить утренний чай и завтракать. Другим показывались ярлычки от рецептов с рассказом истории каждого.

Гости чинно выслушивали. Одеты они были в хорошие свободные костюмы. Лица были побриты, гладки, откормлены, только у некоторых от несварения желудка, от печени – последствия излишеств – были морщины и цвет лиц был желтоват. Дамы по большей части были полны, в пышных шелковых платьях, украшенные золотом и бриллиантами, надушенные.

В столовой весело было от солнышка и прохладно от открытых окон. Зайчики блестели на чистой посуде. За одним столом закусывали сыром, колбасами, маринадами, маслом и свежими пирожками, на другом пили чай или кофе с густыми сливками, вареньями и сдобным хлебом.

Скорбные дни настали у нас дома. Даже я теперь, всегда оптимистически настроенный, видел, что папа таял.

Однажды мне пришлось ему делать перевязку, и сердце мое сжалось от вида открытого рака и от стопа папы во время перевязки, а я производил ее очень осторожно.

Однажды он позвал меня к себе.

– Мишутка, придется тебе самому заняться покосом в Сергейкове. Возьмешь с собой селедок, баранок, водки для угощения, и деньгами мама даст. Смотри по погоде, сколько косить, и сырое не убирай. Соли возьми притрухнуть сено: скотина лучше ест и мышь не точит. Старое сено к одному боку. Посмотри, не нужно ли переменить хворост на настил под сено. Ну, ступай с Богом!

Видно, что он очень устал от такой длинной для него теперь речи. Если бы он знал мои чувства к нему в это время. Я горел старанием сделать все как можно лучше, тщательней, так, как он любит. Я знал, что это ему было бы приятно.

Неделю я пробыл безвыездно в Сергейкове. Погода задалась. Травы было много, косили во время. Никаких инцидентов у меня с убирающими не было. Целый сарай и верх конюшни заколотили сеном. Это намного больше было, чем в прошлом году.

Я ехал домой на дрожжах загорелый, нетерпеливый. Мне хотелось порадовать папу, я даже клок сена вез ему показать. Пусть бы он понюхал аромат его, посмотрел, какое оно зеленое!

Вот и дом. Лошадь я оставил на дворе, ее распрягали без меня, а сам полетел к отцу.

Обо все ему дал подробный отчет. Дал ему и сено. Он понюхал и досадливо бросил его от себя, отвалившись на подушках к стене.

– Ступай. Молодчина.



Я вышел от него. Я понял, что ему неприятно было всякое проявление жизни, да еще такой, какую он любил. Он знал, что умирает, и не хотел никаких компромиссов.

В саду, в палисаднике, я долго утирал слезы. Я жалел его.

Снова потекли тусклые дни в Кикино. Наверху угасал папа... Об этом знали все в доме, и это обстоятельство искренне налагало на всех печать уныния. Поэтому не слышалось ни смеха, ни песен, ни граммофона.

Для меня, любителя музыки, единственным развлечением были спевки церковного хора, который в это лето не распадался и сопровождал каждую обедню. Мы старались разучить всегда что-нибудь нотное, и души наши, овеянные гармонией Архангельского, Чайковского и других, сладко ныли после спевок.

По-прежнему я любил утро. Я просыпался сравнительно рано, в 7-м часу, и шел на свое любимое местечко к пруду, около палисадника.

Небо безоблачно. Солнце где-то за крышами. От пруда освежающе тянет сыростью тины, под которой шелестят караси. Где-то на дворе кудахчут вразброд куры. На селе тихо.

В этой тишине, на лавочке, скрытой в богатой зелени, я любил читать, думать про свое, а то и просто молчать и глядеть кругом на природу. Это было неизъяснимое удовольствие, умиротворяющее действовавшее на нервную систему, отодвигавшее все текущие жгучие вопросы далеко. Сколько раз я писал отсюда к своему другу письма! Сколько я прочел здесь книг, сколько над некоторыми из них думал, склонив голову на руки. Я любил эти утра. Я бесознательно рос духовно, и много хорошего и плохого передумалось за это время.

По каким-то признакам, неизвестным для нас, доктор сообщил однажды, что папе вдруг стало значительно хуже, и он дал намек, что может быть близка и развязка. Некоторые из нас отнеслись к этому с насмешкой, так как, по наблюдениям, отец вроде повеселел за последнее время. Как бы ни было, все мы, хотя и знали обо всем, все же были подавлены этим сообщением, неизбежностью ужасного конца.

Мама, как христианка, по-своему восприняла это. Ей казалось, что долг ее был в том, чтобы не пустить по ту сторону грешную душу, и поэтому она стала уговаривать папу пособороваться, поговорить и причаститься.

Я не знаю, какие доводы она ему приводила, только в конце концов, слушая ее, он, как-то помолчав, сказал ей:

— Ну, ладно. Только пусть на соборовании никого не будет. И вообще, не надо людей...

И повернулся лицом к стене, тяжело вздохнул.

Желание его было исполнено. Когда отец Иосиф — его духовник выходил от него в зал, то вдруг — и это было странно видеть — расплакался и в экстазе произнес:

— Вот истинный христианин! За всю свою жизнь встречаю первого!

О чем они беседовали, для всех осталось тайной.

Мама готовилась к другому шагу: она хотела, чтобы отец перед смертью благословил всех, и этим наводила на всех нас гнетущий ужас. Я наблюдал за ней. Это была в то время какая-то фанатичка!

Кой-где в лесу появились желтые пряди, предвестники осени. Заморозков еще не было, но ясные утра были с холодной обильной росой. Поля пусты. Стояли последние дни июля.

В это время вдруг из Румянцево прислали за мной, чтобы там я мог подготовиться к висящей на носу переэкзаменовке по немецкому языку.

Для меня это было важно, от этого зависел мой переход в 8-й класс.

Я поехал. Молодость эгоистична. Дорогой я отвлекся от домашних ужасов и с замиранием сердца думал о встрече со своей родной девушкой.

Рука об руку с ней мы пойдем по жизненной дороге, думалось мне. Она поможет мне пережить потерю отца. Она поможет мне окончить гимназию. За ее теперешнюю поддержку и я ей отплачу всем, чем смогу. Вот она — духовная близость.

И глаза мои, загоровшись надеждой, смотрели куда-то в будущее через овраги и перелески, которыми мы ехали. Если я старался до сих пор не думать о таких горьких неприятностях, как смерть папы, как переэкзаменовка по немецкому, то теперь я взглянул правде в глаза и как-то не испугался, не растерялся. За этими ужасами я видел дорогую руку поддержки.

С этого мои думы переключились на другое.

Вот не будет папы. Я уже большой теперь. На мне будет часть заботы о семье, о маме. Надо бросать, в самом деле, свои детские бредни и за всякое дело приниматься по-взрослому. Во-первых, надо во что бы то ни стало кончить гимназию.

Вспомнилась казенная гимназия с вереницей товарищей и учителей. Вспомнились бесконечно скучные, похожие один на другой уроки. Я беспомощно противопоставил им себя, и мне снова на время показалось, что гимназия добьет меня, и на этот раз совсем.

Совсем и скоро! На носу переэкзаменовка, а что я сделал? Правда, я выучил слова, знаю переводы

статей. Но самого главного, грамматики и синтаксиса, я не понимаю, хоть убей! Господи, что же мне делать? Ведь если я не выдержу переэкзаменовки, то вон из гимназии... Прощай всякие мечты о специальном техническом образовании, прощай все многолетние труды... Что же мне делать тогда?..

И приуныл я крепко. Ломалась моя вся жизнь, и я не знал, в какую сторону. Впереди была пугающая неизвестность.

Когда я, накупившись, думал о своей доле, не заметил, что приехали в Румянцево, едем прогоном, скоро и дом. Я вдруг, как видение, увидел свою девушку с большим букетом последних полевых цветов, окруженную ребятишками.

– Лидусенька!

– Миша, родной!..

Жаркий июльский день. Неподвижны в голубом небе белые кипы облаков. На опушке чистой березовой рощи, недалеко от дома, в густой траве прохладно и легко дышится. Глаза наталкиваются то на фиолетовые колокольчики, то на желтую куриную слепоту.

Мы только что окончили занятия по немецкому. Я не успел еще закрыть книгу и сижу около своей девушки слегка взволнованный. Мне радостно и приятно, что я понемногу начал разбираться в том, что никак мог постигнуть в гимназии. Как и всегда, материал кажется теперь простым.

– Я не понимаю одного, – смотря на меня серьезно, говорит моя девушка, – как ты, с такими способностями, ухитрился получить переэкзаменовку, в то время как легко ты, понимаешь, легко, мог бы учиться на четверки, по крайней мере?

– Это надо приписать все исключительно твоему умению истолковывать правила. Я вот только теперь начинаю все постигать, и оказывается, что это все не так трудно. А как же может внятно сообщить правило человек, плохо владеющий русским языком.

– Нет, ты просто лентяй!

Я закуриваю. Синий дымок долго не расходится в неподвижном воздухе.

– На меня такое находит, – задумчиво говорю я. – Когда меня начали обучать грамоте, то я очень туго шел. Никак я не мог понять механики получения слов из букв. Сколько раз я из-за этого плакал, не хотел идти в церковно-приходскую школу, так как нас за это (не всех, конечно) ставили на колени на горох. Стоял около печки мешок с горохом. На него и нужно было становиться. А потом приехала к нам учительница Александра Васильевна Бельская, и я моментально научился читать. Тоже, наверное, обладала талантом объяснять.

– Ты мне ничего не рассказывал про свое детство. Расскажи.

Я лег ничком, положил на ладони лицо и, наблюдая за какой-то букашкой, думал, о чем рассказать.

– Детство мое мне представляется очень уютным. И когда бы это ни было: летом, зимой, когда я был здоров или когда болел, – все равно, вспоминается уют, тепло, забота о тебе. Сейчас я задумался было рассказать, и как-то невольно представилась такая картина. Зима. На воле трескучий мороз. Окна разрисованы широкими узорами. В спальне тепло. Она в полумраке; еле освещена розовой лампадкой. В комнате никого нет, кроме низенькой старой няни, которая неспешно что-то убирает и глуховатым баском что-то говорит. Слышно, как звонят к утрени. До рассвета еще долго. Я сижу на теплой лежанке и, подсунув колени под рубашонку, борюсь со сном. Около меня лифчик, чулки, штанишки, рубашка, но так не хочется просыпаться, так сладко дремлетесь...

По-видимому, это было в праздник, так как родители уже ушли.

Или вот еще.

Я хвораю. У меня жар. По всей вероятности – инфлюэнца. Я лежу наверху на диване около ширмы, обитой мышиного цвета бархатом. На ней какой-то рисунок, отдаленно напоминающий сплетенные хоботы слонов. Няня ушла мне за чаем. Около горит лампа. Мне видна анфилада комнат: полуосвещенная гостиная и совсем черный зал. В голове что-то звенит, мне немного страшновато, и я напряженно слушаю все звуки. Слушаю, скоро ли заскрипят ступени лестницы в коридоре под няниными шагами, несущей мне чай.

Жар велик, я еле улавливаю свое сознание, которое вот-вот заволакивается бредом.

И вдруг я холодею. Мне кажется, что из темного зала выйдет сейчас слон, он будет расти в своих размерах, пока не заполнит всю комнату, не начнет душить меня.

Ужас наполняет меня. Я обливаюсь потом и пронзительно, как мне кажется, кричу:

– Ня-ня!

Моя родная, покусывая какую-то травку, внимательно слушает меня, ласково глядя на меня. Увлеченный милыми воспоминаниями, я сел и забыл, где я нахожусь; так ярко переживаемые картины.

– Или вот еще. Утро. Мама, полуодетая, стоит на коленях у комода и молится. Я проснулся и наблюдаю за ней. И вдруг... я обнаруживаю сзади... хвост. Да, хвост! Длиной около четверти. Это

было так неожиданно, что я моментально сел и... Что делать? Ужас! Я несколько раз ощупывал его рукой. Хвост... Хочется кричать от ужаса. Молниеносно возникает решение: отрезать его!

– Мама! Дай ножницы. – Голос у меня хриплый от испуга и нервный.

Мама уже помолилась и, подошедши к комоду, взяла ножницы.

– Зачем тебе?

Что ей сказать? Соврать? И я глухо, против своей воли, говорю ей:

– У меня вырос хвост!

– Что?

– Хвост у меня вырос! – говорю я со слезами.

– Покажи-ка! Господи! Час от часу не легче!

Я становлюсь к ней задом. Мама быстро что-то взяла, и мой хвост стал вытягиваться. А когда я рукой тронул, то хвоста не было. В руках у мамы тряпка, а в ней большой глист.

Как же я был рад тогда!

Мы оба хохочем.

В это время над именем певуче проносится звук охотничьего рога. Это сигнал к обеду. Представился коренастый племян Шурка на крыльце с надутыми щеками, посылающий в молчаливое пространство эти певучие звуки.

Мы поднялись. Я взял книги. Моя девушка, отряхнув себя, бодро пошла впереди слегка раскачивающейся походкой.

Так проходили дни. Однажды за вечерним чаем была получена тревожная телефонограмма из дома, что папе стало хуже.

На семейном совете решили, что завтра, чуть свет, надо ехать туда.

Я притих. Грустными глазами мой друг следила за мной и всячески старалась оказать мне свою поддержку.

Около часу ночи пришла вторая телефонограмма, что папа умер...

Я ушел в кабинет и в темноте боролся со слезами. Я знал, что это неизбежно, но... Не укладывалось в голову, что нет сурового на вид папы, так любившего меня.

Мне вдруг стало стыдно, что я сбежал от него. Умышленно сбежал, оберегая себя.

Прижавшись к подушке, я вдруг заплакал. Я в этот момент так горячо просил у него, мертвого, за все, что я когда-либо при его жизни сделал (ему разве – себе!). С другой стороны, и я ему все простил! А чем он меня обижал? И я не знал, что ответить на этот вопрос. Думалось горько: «Папа, милый, зачем ты всех нас оставил? Зачем?»

Тоской сжималось сердце, и неудержимо текли слезы.

На мою голову нежно легла ласковая рука. То моя родная пришла разделить со мной мое горе.

Она села рядом и, слегка вздрагивая, стала гладить мою руку.

А потом шепотом заговорила:

– Однажды, это было два года тому назад, мы встретились здесь. Может быть, твой папа догадывался, что ты тогда начинал ухаживать за мной, и вот, я помню, мы вдвоем сидели на парадном. Ты играл во что-то. Он глядел на вас, а я около него читала:

– Мишутка у нас хороший! – сказал он вдруг, оборачиваясь ко мне, и мне стало и приятно, и стыдно.

После слез, немного успокоившись, я глубоко прерывисто вздыхал. Где-то в груди была давящая тяжесть и ужас перед грядущим днем. Лучше бы ничего этого не знать и не видеть!

За день до своей смерти, чувствуя слабость и угасание сил, Василий Петрович согласился на доводы своей жены благословить всех.

Были сняты иконы. Каждого из своих детей, по очереди, становившегося перед ним на колени, он благословлял иконой и говорил слабым голосом несколько напутственных дорогих слов.

Трудно было каждому выдержать это благословление. Текли неумные слезы. Дрожа, целовали родную, благословлявшую, иссохшую за болезнь и такую знакомую руку. Рыданиям и слезам давали волю там, за дверями.

– А Мишутки-то нет? – спросил он, заводя глаза, блестевшие от слез, на стоявшую у изголовья онемевшую в своем горе жену.

– Он в Румянцеве. Хотел сегодня или завтра приехать.

– Пусть уж он там. Не надо. Скажи ему, Настя, что я благословляю его Николаем Чудотворцем, скажем ему, что с этой иконкой я вышел из отцовского дома, с ней прожил всю жизнь счастливо. Его теперь ею благословляю. Пусть учится...

Василий Петрович устал. Закрыв глаза и замолчал. Изредка катились скупые слезы. Знал ли он, что это было прощание навсегда со всей семьей, которую он так любил и так пестовал...

К вечеру 20 августа по старому стилю 1912 года ему стало хуже. То наступал момент возбуждения, то силы покидали его и пульс исчезал. Вызванный доктор сообщил, что силы его иссякли и начинается агония.

Стали ходить на цыпочках. Кругом была тишина. За окнами в темноте шел дождь. Горела лампа, а в углу около икон – лампы и восковая приготовленного и раскрытого псалтыря.

Около одиннадцати часов вечера он пришел в себя, окинул взглядом комнату и знаком подозвал к себе маму.

Та подошла.

– Плохо мне. Умираю я...

– Бог милостив, Василий Петрович! Молись ему, милостивому, на иконы.

Отец перевел глаза, и в них забились какая-то живая мысль, но не надолго. Снова они потухли, и голова его склонилась на грудь.

Мама стояла все время около него. Вот он снова открыл медленным движением глаза, слабо взял мамину руку, слабо сжал ее и прошептал:

– Прощай, мой друг! Давай... простимся.

Мама наклонилась, и он поцеловал ее, пристально вглядываясь в лицо, обняв другой рукой за шею. Рука бессильно соскользнула. Мама выпрямилась. Он опять затих. Через некоторое время зашевелилась правая рука. Кисть с трудом приготовилась к крестному знаменю. Медленно поползла рука по одеялу к лицу. Вот он сотворил его и прошептал:

– Боже! Милостив буди ко мне, гре... – не договорил и, испустив последний вздох, вытянулся.

Мама безмолвно, теряя горячие слезы, стояла рядом, сжимая холодеющую руку своего мужа, отошедшего от этой жизни, от нее, от всего навсегда.

За окном монотонно по стеклам стучали дождевые капли. У угольника перед псалтырем стоял кто-то, и оттуда неслись спотыкающиеся слова народной мудрости прошлого: «Господи, перед тобою все желание мое, и воздыхание мое от тебя не утаится. Сердце мое смятется, остави мя сила моя, и свет очию мою, и той несть со мной...»

В 11 часов 30 минут вечера 2 августа 1912 года не стало Василия Петровича.

Отягченный страданиями последних двух лет, он ушел на 72-м году жизни, устав бороться за свое счастье, за счастье своих близких.

Ушел мудрый, справедливый, жалостливый к другим, к чужому горю, всегда горя желанием помочь этому горю незаметно...

Когда я увидел его в первый раз мертвым на столе в зале, я бросился к нему с рыданием на колени. Меня подняла мама.

Она гладила меня по голове, как маленького, и приговаривала дрожащим и каким-то угасшим голосом:

– Не плачь! Успокойся! Ему теперь хорошо! Он больше не страдает!

Я крепко обнял маму. Не хотел ли я в этом объятии передать, что я никогда, никому без него не дам в обиду маму.

Я чувствовал, что для нее значило потерять папу, с которым она прожила столько безмятежных, согласных лет. Я поцеловал ее и только тут заметил, что она во всем черном, сразу какая-то осунувшаяся, морщинистая и ставшая меньше ростом, потому что безысходное горе согнуло ее.

Мы вдвоем подошли поближе к его лицу. Никому не дала мама убрать своего старичка в последний путь. Сама подстригла ему, как он любил, седую бородку, усы. Сама завязала ему его любимый галстук. Сама надела заслуженные им серебряные медали на шею. И он выглядел помолодевшим, молодецкатым, каким я видел иногда за церковным ящиком.

В зал то приходили, то уходили. Было много посторонних. Горели в подсвечниках из церкви свечи. Благоухали поставленные в изголовье цветы.

Весь день была тупая головная боль. Мне ничего не хотелось делать, ничего не интересовало. Я часто подходил к нему, но какая-то болезненная спазма сдавливала горло, и я снова уходил.

В пять часов вечера стал собираться народ на панихиду. Зал заполнился. Пришли священники. Пришел с хором мой приятель Ал. Мих.

Говорили кругом шепотом. Раздали свечи. Принесли мелодично позванивающее кадило. В зале поплыли сизые волны ладана.

Я ушел из зала в столовую и стал с зажженной свечой к окну.

А оттуда тихими минорными аккордами понеслись песнопения. Кто-то навзрыд заплакал. Кого-то стали уговаривать.

«Молитву пролию ко Господу и тому возведу печали моя...»

Мне вспомнился вдруг «Иоанн Дамаскин» Ал. К. Толстого.

*Какая сладость в жизни сей  
Земной печали не причастна?  
Чье ожиданье не напрасно,  
И где счастливый меж людей?  
Все то превратно, все ничтожно,  
Что мы с трудом приобрели –  
Какая слава на земли  
Стоит тверда и непреложна?  
Все пепел, призрак, тень и дым,  
Исчезнет все, как вихорь пыльный,  
И перед смертью мы стоим  
И безоружны и бессильны.*

*Рука могучего слаба,  
Ничтожны царские веренья –  
Прими усопшего раба!  
Господь, в блаженные селенья!  
Средь груди тлеющих костей  
Кто царь, кто раб, судья иль воин?  
Кто царства Божия достоин?  
И кто отверженный злодей?  
О братья! Где серебро и злато,  
Где сонмы многие рабов?  
Среди неведомых гробов  
Кто есть убогий, кто богатый?  
Все пепел, дым, и пыль, и прах,  
Все призрак, тень и привиденье –  
Лишь у тебя, на небесах,  
Господь, и пристань и спасенье!  
Исчезнет все, что было плоть,  
Величье наше будет тленье –  
Прими усопшего, Господь,  
В твои блаженные селенья!..*

Я вспомнил это произведение, и его глубокий смысл, облеченный в художественную форму, для меня был потрясаящ. Я как-то сразу успокоился, замкнулся в себе, и слезы мои иссякли. Я видел кругом горе, которое было и моим горем, но... плакать я больше не мог. Точно сразу я вырос на несколько лет и познал то, что раньше не знал.

Хоронили отца на Преображение при большом стечении народа. Когда его выносили из дому, мама, которую я вел под руку, вдруг грубо зарыдала и сказала:

– Куда же ты уходишь-то, хозяин мой дорогой?  
Я ж не справлюсь одна без тебя...

Через три дня после похорон папы шел я по хорошо знакомому гимназическому коридору с одним из своих товарищей. У меня на рукаве была повязка из черного крепа.

Навстречу нам приближалась широкоплечая фигура в форме с серебряной бородой лопатой. Это был наш инспектор Зенон Максимович Милькович (из чехов). Он преподавал и географию, и немецкий, и латинский, и историю. Как у всякого человека, так и у него были свои странности. Все же это был чрезвычайно отзывчивый на горе человек, не терпевший лжи.

Когда-то, на заре своей гимназической жизни, я и брат были у него на квартире. Он знал моего отца и очень уважал его.

Увидев меня с траурной повязкой, он остановился и спросил серьезно:

– Но отчего-то у него траурная повязка?  
– Папа умер, Зенон Максимович.

– Василий Петрович? – громко ахнул он, как будто у меня мог быть еще другой отец.

Он круто повернулся и пошел от нас.

Через час я держал переэкзаменовку по немецкому. Я очень волновался, так как по существу «на бочку» ставилась вся моя жизнь. Но я вспомнил своего друга, ее объяснения, и мне мой билет показался не трудным. Я довольно толково, как мне показалось, разобрался в нем.

В числе ассистентов был и Милькович. Когда я готовился, он что-то долго говорил нашему «немцу», показывая на меня глазами.

С волнением я отвечал, сбивался и когда особенно заволновался и почувствовал, что тону, в этот самый момент Милькович авторитетно сказал:

– Но довольно с него, идите.

Это, конечно, было моим спасением. Результаты будут объявлены после совета.

В этот же день я решил уехать к своей девушке. У меня было отвратительное настроение. Тянуло домой. Я знал, что там одна мама, что теперь все домашние часто ходят на могилку к папе и оказывают ей всяческое внимание.

Во мне свершался, очевидно, какой-то перелом. Мне нужно было стать взрослым и по-взрослому относиться ко всему окружающему. А кто, как не мой друг, может оказать мне в этом поддержку. Дома же мне надо сразу быть взрослым.

Наступал после дней непогоды ясный теплый вечер. Все золотилось в лучах заходящего солнца. Мы стояли у ворот ее дома, нам было в этот момент так бездумно, все огорчения были позади.

На нас наступала жизнь, знакомая нам больше по книгам, но мы были вдвоем и не боялись этого. Мы юношески смело смотрели вперед, готовые оказать любую поддержку друг другу.

Мне показалось, что это впервые почувствовали все окружающие и по-новому взглянули на нас, точно сразу выросли в их глазах.

Через несколько дней я узнал, что переэкзаменовку я выдержал. Меня перевели в восьмой класс.

Впереди был год, после которого я получал неограниченную свободу. Нужно было все свои силы собрать, чтобы преодолеть его и вырвать эту свободу.

Я был в восьмом классе!

*Москва – Ялта – Москва, 1937–1939 годы*







| Юность №7  
| Июль 2020

| Тема номера:  
| Воспоминания

# НЕФОРМАТ



и тщательно точит его о брусок. Маленький телевизор на кухне бормочет о нолленторах, которые подожгли квартиру должника. Ноллентор замирает, прислушиваясь с ухмылкой, возобновляет заточку, но звонит телефон. Ноллентор откладывает брусок, вытирает руки и вытаскивает из кармана пиджака старенький кнопочный аппарат. Говорит мало, в основном слушает собеседника.

НОЛЛЕНТОР. Ага. Сколько?! Ну это наглость. Тот же дом? Удобно, в общем. Скиньте и ее данные, только не на воцап этот, а нормально, эсэмэской. Ну да. И с официальной стороны предупредите, что долг там... Так точно, я аккуратно, на результат. Добро.

Он убирает телефон, проверяет остроту ножа, убирает точило, укладывает нож в кофр, подхватывает его, в прихожей обувается, чуть побряхтывая, опускает в карман огромную связку ключей и выходит.

#### НАТ. ГОРОДСКОЙ ДВОР — ДЕНЬ

Ноллентор издали внимательно изучает окна, балконы и припаркованные у подъездов машины, провожает долгим взглядом кошку. Выбрав минуту, подходит к подъезду, деловито ищет в карманах, отодвигается, чтобы не мешать тетке с ключом, и юркает следом за ней. Фигура Ноллентора мелькает в окнах пролетов, появляется на крыше, тут же исчезает. Выходит, нормит голубей, сняв очки, подсаживается с благожелательной беседой к бабкам на лавочке, душевно прощается и уходит, тайком поглядывая на тикающий в кулаке секундомер.

Так происходит в нескольких разных дворах — где-то Ноллентор подбирает код домофона сам, потрогав самые потертые кнопки или подковырнув блок ножом, где-то любезничает с мамами, выгуливающими детей.

#### НАТ. ГОРОДСКОЙ ДВОР — ДЕНЬ

Чуть запыхавшийся Ноллентор появляется в первом дворе. Теперь на нем черные очки и дурацкая непка. За его спиной воют даление сирены, еле слышен звон стекла и вопли. Он, присев, копается в кофре, рассовывает что-то по карманам и выпрямляется. В очках отражается зажатый в руке секундомер. Ноллентор щелкает кнопкой и стремительно идет по двору, делая массу еле заметных со стороны движений. За минуту он успевает швырнуть пару дымоушен на балконы, залепить стекла двух машин наклейками «Должник», сыпануть на крыши автомобилей хлебные крошки, а капоты обрызгать из баллончика. Возле подъезда он, присев, оставляет на асфальте трафаретную надпись красной «Интим недорого. Телефон такой-то». Входит в подъезд, почти сразу стремительно выходит и идет прочь снвозь дым с балконов, грохот из подъезда, стаи голубей, пикирующих на автомобили, и отряды кошен, атакующих капоты.

#### НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ

Ноллентор идет по улице в среднем темпе. За ним устремляется Тетна в домашнем халате. Он, заметив погоню, ускоряет шаг, но Тетна не отстает. Ноллентор убирает очки в карман, разворачивается и ждет. Тетна, задыхаясь, настигает его (первые реплики произносит с трудом, потом дыхание выравнивается).

ТЕТНА. Слышь, клоун! Ты чего устроил? Дверь заварил, машину... Я ж тебя урою за машину! Я в полицию!..

Она вытаскивает телефон, тот немедленно звонит. Тетна с недоумением смотрит на экран и отвечает на звонок.

ТЕТНА. Да, кто это? Что сколько? Что сколько, спрашиваю? Какой интим? Пошел на хер, извращенец!

Ноллентор, выслушав это со скрытым наслаждением, дожидается, пока Тетна наберет воздуха в грудь.

НОЛЛЕНТОР. Долги вовремя отдавайте.

ТЕТНА. Какие долги, ты дурак? Нет у меня никаких!.. Я вообще кредиты не беру!

НОЛЛЕНТОР. Да? Петрова Екатерина Сергеевна, так? А в четырнадцатом кто пятьдесят тысяч на неотложные нужды брал?

ТЕТНА. Так я их вернула сто лет, вы охренели там? Я все давно вернула!

НОЛЛЕНТОР. А это?

Он не глядя выдергивает из кармана и протягивает тетне бумажную карточку. Тетна боязливо принимает ее, изучает, потом изумленно поднимает глаза на собеседника.

ТЕТНА. Ты что, из-за этого? Балкон сжег, дверь загасил, машину, зараза!.. Из-за этого вот? Я мужу скажу, он тебе кости по одной поломает и голубям этим скормит, идиот!

НОЛЛЕНТОР. Да нету у тебя мужа. Ушел он от тебя, суки, в четырнадцатом еще, деньги забрал и ушел, и правильно сделал. Сидит теперь в Сургуте, радуется.

Тетна начинает отругиваться, но тут до нее доходит смысл слов.

ТЕТНА. Вот ты тварь, мужа еще!.. В смысле – в Сургуте? Ты что, знаешь? Ты его видел? Что ты знаешь, говори!

Она пытается схватить Ноллентора за плечи, тот выдергивает из-за ремня на спине клеевой пистолет и нацеливает на Тетну.

НОЛЛЕНТОР. На месте стой, уделаю хуже двери, язвами пойдешь.

ТЕТНА. Да какое... Стою я, стою. Про мужа скажите. Пожалуйста.

НОЛЛЕНТОР. Долг верните.

Ноллентор еще секунду смотрит на нее, делает два шага назад, разворачивается и уходит, пряча пистолет обратно за ремень и надевая очки. Тетна беспомощно смотрит ему вслед, шевеля губами. Потом смотрит на карточку и всполошенно убегает.

ИНТ. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН — ДЕНЬ

Тетна в незастегнутом плаще поверх халата бежит по полупустому залу от продавца к продавцу, горячо о чем-то спрашивая и время от времени вытаскивая из кармана комок денег. Продавцы показывают на отдел «Книги для детей».

ТЕТНА (*еле слышно*). Не помню, как выглядела, но вспомню. Нет, мне именно 85-го года, «Советская Россия». Понятно. А где букинисты? Хорошо.

Она бросается из зала. Продавцы смотрят вслед с недоумением и иронией.

ИНТ. БИБЛИОТЕКА — ДЕНЬ

Явно измотанная Тетна трясет потрепанной, но яркой книгой перед стойкой Библиотекаря, сухопарой вежливой дамы.

БИБЛИОТЕКАРЬ. Потихе, пожалуйста. Это библиотека. Я вас поняла. Вам нужен соседний подъезд, там вывеска, сразу увидите.

ТЕТНА. Я очень извиняюсь, что задержала, я доплатить могу...

БИБЛИОТЕКАРЬ. Не стоит, просто давайте оформим все, пока месячник бережного читателя не завершился.

ТЕТНА. Бережного... Этот ваш знаете что с моей машиной сделал? Там же тысяча на пятнадцать...

БИБЛИОТЕКАРЬ. Что, простите?

ТЕТНА. Нет-нет, ничего. Соседний подъезд, я поняла. А потом можно будет связаться с этим... ну, вашим сотрудником? Он про мужа... в общем, мы четыре года...

Речь Тетки затухает под пристальным взглядом Библиотекаря. Она неловко нивает несколько раз, шепчет благодарности и поспешно уходит, задев сложенный в углу плюшевый костюм медведя. Библиотекарь смотрит ей вслед.

## НАТ. ДВОР БИБЛИОТЕКИ

Тетка выскакивает из подъезда с вывеской «Районная библиотека», бежит к соседнему и скрывается там. Вывеска над подъездом становится видна зрителю не сразу, по мере отъезда намере-  
ния: «Библиотеч-  
ный коллентор».

Затемнение.

Титр:

## Часть вторая. Кто из нас слепой?

|||||

ИНТ. ГОРОДСКАЯ КВАРТИРА — ДЕНЬ

Та же сцена, что в начале первой части: Коллентор завершает телефонный разговор.

КОЛЛЕКТОР. Так точно, я аккуратно, на результат. Добро.

Он собирается и выходит. Из полумрака прихожей вскоре доносятся отдаленные сирены, звон стекла и крики.

НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ

Ноллентор и Тетна стоят друг на-  
против друга. Ноллентор развора-  
чивается и уходит, пряча пистолет  
за ремень и надевая очки. Тетна  
смотрит ему вслеп, шевеля губами,  
смотрит на карточну, шевеля губа-  
ми, бросается бежать и догоняет  
Ноллентора.

ТЕТНА. Миша, до погоди ты, я ж не девочка  
уже!

КОЛЛЕКТОР. Это точ...

Он замирает и медленно поворачивается, вглядываясь. Тетка, переводя дыхание, мило улыбается ему и даже подмигивает.

КОЛЛЕКТОР. Вы как узнали?

ТЕТНА. Все пробил, все разнюхал, а что перед глазами, не увидел.

Тетка срывает с него очки — Ноллентор не успевает отшатнуться, — напяливает себе на нос и вмиг меняется, съжившись, полуприсев и будто вдвое помолодев. Даже голос у нее теперь детский.

ТЕТКА. Ну и кто из нас слепой, Миша?

Коллектор явно потрясен.

## ПЕРЕХОД

## НАТ. СКВЕР — ДЕНЬ (ФЛЕШБЭК)

Сидящий на скамье Мальчик (будущий Ноллентор) жадно читает книгу «Семь подземных королей», но вынужден отвлечься на постукивание. Мимо устало идет Девочка в черных очках, нащупывая дорогу светлой палочкой.

ДЕВОЧКА. Простите, здесь есть кто-нибудь?

Мальчик колеблется, но решает  
подать голос.

МАЛЬЧИК. Я тут. Миша. Ты заблудилась, что ли?

ДЕВОЧНА. Мама за сыром заняла, велела мне  
подождать, а мне надоело, я хотела  
маленький кружочек только сделать –  
и заблудилась, видимо. Вход ведь  
там?

Она показывает. Мальчик, помотав головой, показывает в другую сторону, но спохватывается.

МАЛЬЧИН. Нет, в общем, там, где у тебя это самое, палка. Тут скамейка, садись, что ли, отдохни хоть.

Девочка неловно садится,  
Мальчик еще более неловно  
пытается помочь. Книга шелестит  
страницами.

ДЕВОЧНА. Ты читаешь? Прости, я отвлекла.

МАЛЬЧИН. А? Не, это просто... Ну да, такая  
книжка здоровская. Тут знаешь какие  
картинки.

Он осекается.

ДЕВОЧНА. Картинки... Расскажи, какие они.

Она бережно перехватывает  
книгу, кладет ее на колени и от-  
крывает. Мальчик, поколебавшись,  
садится рядом. Девочка водит  
пальцами по раскрытой  
странице.

ДЕВОЧНА. Вот здесь картинка – что тут нари-  
совано?

МАЛЬЧИН. Тут, в общем, подземные короли. Они  
все разного цвета и живут под зем-  
лей, прикинь! А потом к ним попадет  
Элли, как в Изумрудный город. Ты не  
читала... Тебе не читали?

Девочка медленно мотает голо-  
вой, продолжая со слабой улыбкой  
водить пальцами по странице.

ДЕВОЧНА. Расскажешь?

МАЛЬЧИН. Н-ну да... Давай. В общем, Элли жила  
в таком вагончике...

ДЕВОЧНА. Ой, Миша, а можешь помочь? Мама  
меня потеряла, с ума сойдет от  
беспокойства. Сходи, пожалуйста,  
к такой же скамейке в том конце  
парка, если мама там, приведи ее  
сюда.

МАЛЬЧИН. Н-ну ладно. Если что, записку остав-  
лю, как в кино. Жди тут.

Он протягивает руку, чтобы забрать  
книгу. Девочка продолжает лас-  
ково водить пальцами по страни-  
цам. Мальчик, беззвучно вздохнув,  
разворачивается и убегает  
по дорожке.

## ПЕРЕХОД

Мальчик прибегает обратно, крича  
издалена.

МАЛЬЧИН. Там, в общем, никого, я ждал-ждал,  
записку оставил, еще стрелки рисо-  
вал по пути, так что...

Он останавливается возле сна-  
мейки, тяжело дыша, порывисто  
озирается. Снамейка пуста, вокруг  
никого.

МАЛЬЧИН. Э, ты где? Слышь? Заблудишься же!  
Книгу отдай!

Вокруг только деревья и заброшен-  
ная в кусты светлая палочка.

## ПЕРЕХОД

НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ  
(НОНЕЦ ФЛЕШБЭНА)

Ноллентор, поморгав, выдыхает.

НОЛЛЕНТОР. Так это ты, скотина, мою любимую  
книгу!..

ТЕТНА. Я – не я, какая разница. Я тебе куда  
больше верну, не пожалеешь. Ты толь-  
ко адресок скажи. Где в Сургуте...

НОЛЛЕНТОР *(не слушая)*. Ты же мне всю жизнь  
убила этим, тварь!

ТЕТНА. Э, Миш, ты что? Поспокойней давай!

Ноллентор выхватывает клеевой  
пистолет и целится ей в лицо. Тетна  
вскрикивает и отбегает. Проходя-  
щие мимо парни, один густо Татуи-  
рованный, другой Обыкновенный,  
останавливаются.

ТАТУИРОВАННЫЙ. Э, мужик, что творишь?

ТЕТНА. Ребята, спасите! Это коллектор, он  
рехнулся совсем, машину мне испо-  
ганил, дверь клеем заварил, теперь  
пенной в лицо хочет!

НОЛЛЕНТОР. Врет она все! Она у меня книгу укра-  
ла, всю жизнь мне, гадина!..

ОБЫКНОВЕННЫЙ. Ты реально коллектор, что ли?

НОЛЛЕНТОР. Ну да, но не в этом...



Обыкновенный коротко бьет его в челюсть, Ноллентор падает и не шевелится.

ТЕТНА. Ох. Он в порядке?  
ОБЫКНОВЕННЫЙ (*потирая кулак*). В полном.

Эти упырьки мамку мою до инфаркта довели, все в дверь ломились, а сами, суки, непробиваемые. Очнется через полчаса. Дальше гадить будет. С виду-то не скажешь...

Он переглядывается с Татуированным. Они подхватывают Ноллентора под мышки.

ОБЫКНОВЕННЫЙ. Женщина, вы идите, чтобы он потом не сказал, что вы нас натравили, типа. Мы его оттащим сейчас вон на скамеечку, оклемается и не вспомнит, что было.

ТЕТНА. На скамейке ему самое место. Может, одумается. Спасибо, ребят.

Она убегает. Парни, еще раз переглянувшись, волокут Ноллентора не к скамейке, а к мрачному зданию поодаль.

НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ

Ноллентор приходит в себя на скамейке. Покряхтывая, садится прямо, потирает подбородок, скребет лоб под сдвинутой на носке непной, отнашливается и отхаркивается, потом с трудом встает, спотыкается о раскрытый и разграбленный кофр, с трудом собирает его, подхватывает и бредет, сухо сглатывая и проверяя карманы. Увидев вывеску магазинчика, он ускоряет шаг.

ИНТ. МАГАЗИН — ДЕНЬ

Ноллентор входит в магазин, пошатнувшись останавливается, стягивает непку и вытирает ею лицо. Продавщица, которую мы видим из-за спины Ноллентора, нахмуривается.

ПРОДАВЩИЦА. Мы вроде ничего не должны.

Ноллентор вытаскивает из кармана пачку карточек, перебирает их, явно не понимая написанного, понимает плечами.

ПРОДАВЩИЦА. Впрямь так гордишься, что ли?  
НОЛЛЕНТОР. Воду дайте.

ПРОДАВЩИЦА. Иди отсюда, пока охрану не позвала.

НОЛЛЕНТОР. Вы с ума сошли?

ПРОДАВЩИЦА. Паша! Выйди, пожалуйста, тут гордый нарисовался.

Из подсобки выходит большой недобрый Паша. Он обменивается взглядами с Продавщицей, смотрит на Ноллентора и недобро улыбается.

ПАША. Ишь ты. Коллектор.

Мы наконец видим Ноллентора глазами Продавщицы и Паши. Он несвеж, растерзан и угрюм, а на лбу его горит свежая татуировка: буквы «Ноллентор».

НОЛЛЕНТОР (*раздраженно*). У меня что, на лбу?..

Паша очень быстро для его комплекции выдвигается из-за прилавка.

НАТ. УЛИЦА — ДЕНЬ

Ноллентор, направленный пинном, вылетает из двери магазина и плюхается в грязь. Содержимое кофра рассыпается, клеевой пистолет срабатывает, дымовушка чадит, баллончик с краской обливает Ноллентору брюки. В кармане звонит телефон. Он берет трубку.

НОЛЛЕНТОР. Да. Что? Какая разница, сколько мне лет? Какой Вольдемар? Какая попка? Вы сдурели там все? Куда звоните? Интим? А номер где взяли? На асфальте?

Он нажимает кнопку отбоя и туповато смотрит на экран

всхлипывает, пытается ее стереть ладонью, потом водой, потом мылом, полотенцем, мочалкой, пемзой. Надпись лишь ярче выделяется на заполыхавшем лбу. Ноллентор застывает, оперевшись на раковину и разглядывая себя.

Он разглядывает себя еще некоторое время, насухо вытирает лоб, вытаскивает из кармана шариковую ручку и принимается неловко писать на лбу — ошибаясь, по-детски путая поворот букв из-за зеркального изображения, то и дело подтирая ошибки: «Биб-ли-о-теч-ный».

БИБЛИОТЕКАРЬ. Ужас какой. Но сейчас татуировки сводят, у меня племянница знает

хорошего специалиста, он ей помог, э-э, грехи молодости...

НОЛЛЕНТОР. Какая еще племянница?!

БИБЛИОТЕНАРЬ. Да вы ее знаете, Танечка, она в коллекторском как раз подъезде.

НОЛЛЕНТОР (*тыча пальцем в лоб*). Она в коллекторском, а я коллектор! Это же денег стоит, я знаю! Кто оплатит? Из-за вас ведь!

БИБЛИОТЕНАРЬ. Хочу напомнить, Михаил Антонович, что вы не являетесь нашим сотрудником и даже по договору не проходите. Все это сугубо ваша инициатива и ваша ответственность.

НОЛЛЕНТОР. Да? А ради кого я вообще-то?.. И кто мне звонил, эсэмэски слал, а? Из-за кого я?!

БИБЛИОТЕНАРЬ. Тихо, пожалуйста. Это библиотека. Я же не отказываюсь. Танечка обязательно что-то придумает, и знакомый ее коллекционирует интересные случаи, так что, может, не только бесплатно, но еще и гонорар получите.

НОЛЛЕНТОР. Да? Ну, я не гонорара ради, просто хочется, чтобы справедливо. Но, в общем, я не возражаю. А... больно?

БИБЛИОТЕНАРЬ. Если по-хорошему, все больно. Пройдите пока к Танечке, договоритесь, я предупрежу.

Библиотекарь берет за трубку стационарного телефона на столе, тыкает пару цифр и начинает разговор, показывая рукой Ноллентору, что он может идти. Ноллентор, потоптавшись, нивает, глубоко натягивает непку и выходит.

ИНТ. БИБЛИОТЕЧНЫЙ НОЛЛЕНТОР — ДЕНЬ

Ноллентор проходит по коридору, дергает ручки нескольких дверей и почти вваливается в кабинет, заставленный книгами и папками. За столом сидит хрупкая Танечка, закутанное в безразмерную кофту создание с ангельским личиком, испуганно глядящее на дверь сквозь толстые стекла очков.

НОЛЛЕНТОР. Здравствуйте, Танеч... Татьяна, э-э... Мне Наталья Николаевна сказала...

Танечка смотрит на него, не реагируя. Ноллентор продолжает громче.

НОЛЛЕНТОР. Мне Наталья Николаевна сказала, что вы можете помочь.

ТАНЕЧКА. Потихе, пожалуйста. Здесь все-таки тоже библиотека.

Ноллентор моргает с недоуменным раздражением.

ТАНЕЧКА. Да, Наталья Николаевна предупредила, что вы зайдете, и объяснила, по какому поводу. Вы садитесь.

Ноллентор проходит в кабинет, с трудом протискиваясь между стеллажами и стопками папок, присаживается на краешек стула и, вздохнув, снимает непку, готовясь принять волну сочувствия.

НОЛЛЕНТОР. Вот. Вот что сделали, гады.

Танечка рассматривает его лоб с тем же легким недоумением и испугом, как до того смотрела на дверь и на самого Ноллентора. Потом нивает и переводит взгляд на свои руки.

НОЛЛЕНТОР. Возьмется ваш знакомый, как думаете?

ТАНЕЧКА. Я почти не сомневаюсь. Интересный случай.

НОЛЛЕНТОР. А он это — фотографировать там, на ютуб выкладывать не будет? Мне это все вот не надо.

ТАНЕЧКА. Нет-нет, что вы. Вы сами-то не снимали, никому не пересылали?

НОЛЛЕНТОР. Да что я, дурак?

ТАНЕЧКА. Очень хорошо.

Она снова устремляет взгляд на кончики пальцев. Ноллентор озирается, нашлает, не выдерживает.

НОЛЛЕНТОР. Вы как, адрес дадите или он сам приедет?

ТАНЕЧНА. Кто? А. Да, сейчас позвоню. Извините, надо выйти, здесь не берет.

Она открывает ключом ящик стола, вытаскивает айфон, запирает ящик и поднимается, зажав ключ и айфон в руках. Ей не сразу удается протиснуться мимо Коллентора, который поджимает колени. Он провожает ее несколько обалделым взглядом, слушая затихающее цоканье каблуков — роскошная фигура и броский наряд Танечки резко контрастируют с запуганным личином.

Коллентор некоторое время продолжает прислушиваться, но ни каблуков, ни голоса не слышно. Он, потерев лоб и вздохнув, надевает кепку, осматривается, проглядывает и возвращает несколько листочков из папки. Встав, изучает папки и книги на стеллажах, прислушивается. Очень осторожно протискивается к креслу и дергает один за другим ящики стола. Вскидывает голову, прислушиваясь, вытаскивает из кармана связку с ключами, выбирает один, пробует, потом другой, удовлетворенно црякает и распахивает ящик. Увиденное заставляет Коллентора резко отпрянуть, вали на пол папки и книги. Он замирает, не сводя глаз с ящика, на секунду носится на дверь, возвращает взгляд к ящину, вздрагивает и смотрит снова.

В дверях стоит огромный плюшевый медведь — вернее, кто-то, одетый в костюм медведя. Он стоит неподвижно, разглядывая то ли стол, то ли замершего Коллентора.

КОЛЛЕНТОР (*откашлявшись*). Меня тут попросили подождать, я... Ручку просто искал... Танечка?

Он замолкает, ожидая ответной реплики или жеста. Медведь не движется. Коллентор, снова от-

нашлявшись, начинает пробираться к стулу, на котором сидел. Медведь очень быстро делает два шага вперед сквозь валяющиеся стопки бумаг и хлопает Коллентора по голове большим резиновым молотком. Звук получается слишком громким и не-серьезным, но Коллентор падает, как подрубленный.

#### ИНТ. НЕОСВЕЩЕННАЯ КОМНАТА

Коллентор открывает глаза и с трудом садится, потирая голову. Он на полу темной маленькой комнаты без мебели. Свет чуть сочится из-под двери. Коллентор подползает к щели, пытается что-то разглядеть, но замирает, услышав едва различимые голоса. Танечку можно опознать, хоть и с трудом — теперь она говорит глубоким уверенным голосом, — а Второй голос почти неслышен и неузнаваем.

ТАНЕЧНА. Не должник, значит, к книжным червям. (*Смеется.*) Но сперва лоб снять, конечно. Роскошный абажур, себе бы на стол поставила, жаль, люди ходят.

ВТОРОЙ ГОЛОС. Мало с тебя...

ТАНЕЧНА. Ой, мало. Ну хорошо-хорошо, вечером решим, ночью вывезем. Сейчас позвоню.

Поет набор айфона, но разговора не слышно — слышен лишь цокот каблуков: Танечка бродит туда-сюда. Вскоре цокот ослабевает и замолкает.

Коллентор еще какое-то время проводит, замерев ухом к полу, затем садится, схватив голову и невнятно бормоча. Потом вскакивает и начинает метаться по комнате, обстукивая стены, двери. Удары по двери становятся все громче, но дверь не поддается.

КОЛЛЕНТОР (*тяжело дыша*). Сам ведь телефон грохнул, дур-рак... Вот везет же, а...

Наталья Николаевна, куда ж ты меня, сука Наталья Николаевна! Наталья Николаевна!!!

ТАНЕЧНА. Потихе, пожалуйста. Здесь все-таки тоже библиотека.

Ноллентор крупно вздрагивает и замирает. Танечна, хихиннув, с цоканьем уходит от двери.

НОЛЛЕНТОР. Выпусти меня, сука! Выпусти, тварь, убью! Я никому не скажу!! Я убью всех!!! Наталья Николаевна!!! На! Та! Лья! Ни! Ко!...

Он кричит, ссаживая горло.

НАТ. ДВОР БИБЛИОТЕКИ — ДЕНЬ

Во дворе не слышно ни Ноллентора, ни других звуков библиотеки — только шум проносящихся мимо машин. Намера отъезжает от подъезда библиотечного ноллентора и устремляется к подъезду районной библиотеки.

ИНТ. БИБЛИОТЕКА — ДЕНЬ

В библиотеке Тетна топчется перед Библиотечным ноллентором, завершая неуверенную речь.

ТЕТНА. А потом можно будет связаться с этим... ну, вашим сотрудником? Он про мужа... в общем, мы четыре года...

Тетна замолкает, неловко кивает несколько раз, шепчет благодарности и поспешно уходит, задев сложенный в углу плюшевый костюм медведя.

Библиотечный ноллентор смотрит ей вслед. Поднимает трубку, набирает две цифры и, выждав несколько секунд, кладет трубку. Потом неторопливо встает, поднимает и набрасывает на руку костюм медведя и идет к выходу.

НАТ. ДВОР БИБЛИОТЕКИ — ДЕНЬ

Библиотечный ноллентор и Танечна одновременно появляются за стеклянными дверями своих подъездов, запирают их и вешают табличку «Закрыто». Потом обе неторопливо скрываются в глубине здания — почти синхронно, только Библиотечный ноллентор задерживается, чтобы ловко облачиться в костюм медведя.

Далее тишину не нарушает ничего, кроме шума машин.

Намера фокусируется на вывеске «Библиотечный ноллентор».

Конец

2018







ненормально? Почему, вот главный вопрос, в России все идет ненормально?

БОЛЬНЫЕ. Почему?

Донтор распахивает двери в решетке, на что больные кричат «ура!», идут вниз и внутрь. Только Турусин остался на решетке.

ДОНТОР. Слезайте, Турусин, враг разбит, Зимний взят, рейхстаг взят. Бастилия тоже, победа, естественно, как всегда, за нами. Слезайте. Пора лекарства принимать.

ТУРУСИН. Не слезу. Во-первых, тут я тихо сам с собою веду беседу, а во-вторых, я произошел от Дарвина, а он от обезьяны. Где же мне и помещаться, как не тут.

ДОНТОР. Меня не послушаете, санитар придет.

ТУРУСИН. Это уже серьезно. *(Слезает, но, что-то вспомнив, возвращается.)*

ДОНТОР. Эти мои психобольные спокойные и полезные. Это не гидроцефалы, не олигофрены, не зачатые по пьянке, не пораженные наследственными болезнями, нет, в перестройку пошел народ отборный, какого и на так называемой воле не встретишь. Почему «на так называемой»? Да потому, что наше первое мужское отделение куда вольнее, чем остальной (на зал) мир. Слезай, Турусин.

ТУРУСИН. Скажу формулу революции, тогда слезу.

ДОНТОР. Слезь и скажи.

ТУРУСИН. Нет, вначале скажу, потом слезу, эту формулу надо сверху сказать, чтоб сильнее запомнили. Я формулу даже зарифмовал, чтоб врезалось в память. Итак: «Сперва лжеученья – глупцам развлеченья, потом и идейки, кружки да ячейки, потом и листовки, потом забастовки, потом за винтовки, а там баррикады, а там канонады, да шире, да дале, Россию про... дали». *(Слезает.)*

ХАЛЯВИН. Формула! Есть формула еще проще: три дня рабочим хлеба не давать. Вот и все. Шпану на винные склады напустить. И любое правительство

слетит. А еще знаешь как? Как Боря-свинопас учил: разевайте рот. Рот разевайте (в зал) и глотайте суверенитет! Сколько проглотите.

ДОНТОР. Скрывать не буду, да и от кого нынче что скроешь – велели многих новых больных объявлять... больными, внушать им болезнь. Как? Элементарно, Ватсон. *(В зал.)* Попросим для опыта на сцену любого, любого! Из вас. *(Выходит зритель.)* Уверю вас в том, что вы больной психически, но, чтобы не было потом последствий, как мы говорим, следовых реакций, внушаю, что это только опыт. Встаньте в положение тела по Ромбергу, то есть пятки вместе, носки вместе. Закройте глаза, вытяните руки. Трясутся? *(В зал.)* Тут у кого хошь затрясутся – в сумасшедшие записывают. Это, говоря на жаргоне медиков, проверка на трясучку.

Анализ мочи *(смотрит на извлеченную из кармана бумагу)*. О, в моче всего полно, вспомнить только, что едим, что пьем. Анализ крови? Ужас! Кардиограмма?.. Страх! Дальше не надо: клиент готов, он ступорозен, мутичен, абуличен, он весь наш. Да еще недельки две проживет в отделении, тут ему, как говорят мои подопечные, полный шандец. *(Отправляет зрителя в зал, хотя зритель сам уже рвется в отделение.)* У меня в отделении становится все больше тех, кто, как бы помягче выразиться, умнее лечащего врача. Хотя... хотя быть умнее всех – преимущество врачей-психиатров. Это ведь про нас анекдот: «У вас в палате есть Наполеон? – Есть. Только он заблуждается, ведь Наполеон – это я». Таковы мы – психиатры... *(Закрывает за собой решетку.)*

Утро.

ДОНТОР. Утро в отделении начиналось так же, как и на воле – с зарядки. Только у нас зарядка была умственная. *(Психобольным.)* Становись.

БОЛЬНОЙ. По росту или по уму?

Гегель все подчинил разуму, Шопенгауэр все подчинил воле, Ницше, ухватившись за теорию развития человека от обезьяны, решил, что человек и дальше развивается, и сочинил теорию о сверхчеловеке. Тут уже Папа Римский объявил о своей непогрешимости, то есть поспешил захватить место сверхчеловека. Вопрос к аудитории: нормальны ли они?

Папа Римский объявил о своей непогрешимости, то есть поспешил захватить место сверхчеловека. Вопрос к аудитории: нормальны ли они? Нормален ли Маркс, учивший, что все от капитала, инстинктов и желудка? Нормально ли говорить, что жизнь – борьба, в которой побеждает сильнейший, что жалость к слабым есть безумие. Об остальных повелителях ума помолчим для краткости, достаточно и указанных, чтобы спросить: эти чокнутые гордецы нормальны? Конечно, нет, но они влияли на мир и постепенно сделали его под себя, чтобы удержаться в гениях. Все наши беды оттого, что мы не слушаем друг друга. От этого гибнут государства, рушатся судьбы, от обиды невысказанности уходят в затвор, на плаху, сходят с ума. Кому не нравятся мои рассуждения, пусть не слушает.

ДОНТОР. Я давно заметил, что от буйства лекарства есть, а вот от поноса слов – нет. Причем понос слов всегда означает запор мыслей. Доказать? Включите телевизор.

Все смотрят телевизор, где на экране псих проводит сеанс гипноза, или дает советы, как излечиться от запора, или... или на фантазию антеров и режиссера.

ДРУГОЙ БОЛЬНОЙ. Я требую, чтобы меня выслушали не только вы, доктор, но и остальные.

БОЛЬНЫЕ (*выстроясь и толкаясь из-за места на правом фланге, хором*). Говори, Вася!

БОЛЬНОЙ. Турусин сообщил, что он произошел от Дарвина, а тот от обезьяны, это дело Турусина и Дарвина. Но он это и остальным внушает. Турусин, ты уже слез, уже не скачешь по ветвям железной решетки, слушай: Кант отрицает сверхъестественное, хотя уже одно это сверхъестественно. Ренан додумался до кошунства, что Христос только человек. Гегель все подчинил разуму, Шопенгауэр все подчинил воле, Ницше, ухватившись за теорию развития человека от обезьяны, решил, что человек и дальше развивается, и сочинил теорию о сверхчеловеке. Тут уже

ДОНТОР. Пока они смотрят телевизор, я думаю. Половину мирового коечного фонда занимают психобольные (по-русски – душевнобольные. Именно у русских болит вначале душа, потом все остальное).

Итак, я делаю выводы:

1. Психобольные не есть душевнобольные.
2. Душевнобольные нормальны, ибо именно они всегда говорят правду, тогда как так называемые здоровые сплошь и рядом прибегают к лжи, чтобы правду скрыть.
3. Душевнобольные обладают даром предвидения.

Какая система быстрее сводит людей с ума: капитализм или демократизм? Отвечаю: сводят обе. Ибо всякая система неестественна и губительна для психики. Вопрос: насколько?

Входит санитар.

САНИТАР. Новенький (*подает историю болезни*). Переодевают. Вначале, может, успеете наших принять?

ДОНТОР. Кто?

САНИТАР. Как всегда: Халявин, Голев, Зуев. Избаловали вы их. Болтали бы в курилке, нет – надо к заведделением.

ДОНТОР. Зовите. (*Берет историю болезни.*) Зуев. Детдомовец. Склонен к побегу. Будет проситься на работу. В прошлый раз рассказывал, что это он убил Гитлера.

Входит Зуев.

ДОНТОР. Ну что, Коля, лучше тебе?

ЗУЕВ. Алексей Иванович, есть слово «лучше», а есть слово «легче». Выпишите на работу.

ДОНТОР. Убежишь ведь.

ЗУЕВ. Куда? Кабы лето.

ДОНТОР. Ты зачем ко мне просился?

ЗУЕВ. Бумаги надо – стихи сочинил.

ДОНТОР (*дает бумагу*). Ну, садись, пиши.

ЗУЕВ. Я еще на другом языке сочинил. Тоже писать?

ДОНТОР. Пиши. Следующий.

Входит Халявин, по пояс раздевается у порога.

ХАЛЯВИН. Справок не надо!

ДОНТОР (*с историей болезни*). У него фронтовая контузия. Болел, работал, был несправедливо обижен, поехал жаловаться, заболел психически. Его просто нужно выслушать – он успокоится до следующего раза.

ХАЛЯВИН. Халявин, офицер запаса. Участник войны.

ДОНТОР. Слушаю.

ХАЛЯВИН. Жить надо по-будущему! Здесь нет воевавших, одна шпана, ходил я на

пилораму, но нет пальто, нет галстука, на войне было пальто и носил галстук, сапоги со шпорами, садишься на коня и скачешь на запад. Были усы, закручивал. По-будущему надо жить!

Входит Голев в чалме.

ХАЛЯВИН. Голев, такой здоровый, на пилораму не ходит.

ЗУЕВ (*бросил писать стихи*). Да ему даже пол мыть нельзя – сразу доски приходится менять. А протрет койки – они ржавеют. Его родня из другого мира, они нас поджигали.

ДОНТОР. Написал стихи? Давай... (*К Халявину.*) Павел Николаевич, идите. Хорошо поговорили. Жить будем по-будущему.

Халявин уходит.

ДОНТОР (*к Голеву*). Ты чего это в чалме?

ГОЛЕВ. Сигналов не хочу от волшебников.

ДОНТОР. Ладно, посиди. (*Берет у Зуева стихи.*) «Тебя все нет в тиши ночной, ах, что со мной, ах, что с тобой. Вот вижу – призраком идешь ко мне, и тут же потерялась во мгле. Одна луна лишь на меня глядит, да сердце все мое горит. И так всю ночь мне не спится, пока не вспыхнет новая зарница». Очень хорошо. Можно Голеву почитать?

ЗУЕВ. Конечно.

ДОНТОР. (*Берет другой листок.*) Это на другом языке? Тартень пронь келаша не пронь кретошь пелу и пала, печь кетлана умечь кара лету уже келану и чаша таль пана мердана... Это о чем?

ЗУЕВ. Тоже о любви. Доктор, я ведь из тюрьмы сбежал, как мне быть, ведь я в побеге числюсь, срок добавят.

ДОНТОР. Не добавят. Иди спокойно, я им скажу, что ты у нас.

ЗУЕВ. А на работу выпишете?

ДОНТОР. Телогреек и сапог не хватает. Вот ближе к лету посмотрим.

ЗУЕВ. Надо же награждать трудом, верно? Гитлера же не каждый убьет. А я убил.

ДОНТОР. Расскажи, как?..

ЗУЕВ. Не помню, я же был маленький. (*Входит.*)

ДОНТОР (*к Голеву*). Ты чего на прием просился?

ГОЛЕВ. Алексей Иванович, не хочу с дураками сидеть. Мне подсыпают наркотики, да чуть меня не сожгли. Даже пыж тряпочный подготовили. У меня легкие обморожены зелеными лучами. Не хотели пижаму давать и компоту, только с самолетов волшебники велели дать, тогда дали...

ДОНТОР. Тебе понравились стихи Зуева?

ГОЛЕВ. Буду я читать, дурак писал. Думаете, что солнце жаркое, значит, там углем топят, а это волшебство.

ДОНТОР. Платок сними.

ГОЛЕВ. Голоса не велят. А галоперидол отмените и сами здесь не работайте. Вы же наш человек. А у меня еще все органы болят.

ДОНТОР. Витя, ты себе меньше внушай болезней. Тебе одной хватит. А перестать тебя лечить – ты кого-нибудь убьешь.

ГОЛЕВ. Как это еще? Если я убил, так это волшебники велели.

ДОНТОР. Плохие твои волшебники. Что же они не подскажут, как тебя лечить.

ГОЛЕВ. Я здоровый.

ДОНТОР. Пусть помогут Зуева вылечить, Халявина, Аскинадзе, Мамедова.

ГОЛЕВ. А их лечи не лечи.

ДОНТОР. Эгоист ты, Витя. Возьми сигарету. Иди.

ГОЛЕВ. Я же не показал еще трехпулевое ранение.

ДОНТОР (*притворяется, рассматривает*). Ничего у тебя нет.

ГОЛЕВ. У вас глаза по-другому устроены, вот и не видите. (*Входит.*)

ДОНТОР. Логично.

Раздаются звуки гармошни. Халявин поет: «Ой, полным-полна моя коробушна, пожалей, душа моя зазнобушна...» и снова одно и то же. Входит новый больной в сопровождении санитаров.

ДОНТОР. Садитесь!

БАТЮНИН. Доктор, это свершилось – я здесь. И мы вместе с вами докажем осталь-

ным, что конец света не только наступил, но что уже и состоялся, прошел, мы и не заметили, что живем после конца света, что мы не люди, а нелюди. Докажем? Но о том, как я сюда попал, не скажу, это был мой расчет. Я исследовал сумасшедших на свободе, пора логически начать исследовать их в заключении, то есть здесь.

ДОНТОР. Здесь обычная больница.

БАТЮНИН. Только зарешеченная? Но это хорошо, пора отгораживаться от бесов. Прошу создать мне условия для моего труда, выставить охрану, так как мой труд волеется в труд моей республики. А моя проститутка где? А бумаги где? Отберете – вам же хуже.

ДОНТОР. Никто ничего у вас не отберет. Сейчас вас проводят в палату.

БАТЮНИН. Уводите. Мне как – руки за спину?

ДОНТОР. Можно и за голову.

БАТЮНИН. Да вы, кажется, с юмором... Может, еще вы мне и пригодитесь. (*Входит.*)

САНИТАР. У него записки какие-то, будете смотреть? Жена его здесь, позвать? Но если вам некогда...

ДОНТОР. Позови.

Входит женщина неопределенного возраста.

ЖЕНЩИНА. Какой вы старый. И седой. И лысеее. Седой – это красиво, седой бобер дороже, да? А я вот мужа довела, он говорит, и он меня довел. Тазепам горстями, валерьянку стаканами, никакого толку. А ревновал! У меня ни с кем ничего не было, ведь мы с вами только целовались, да? Но ему ничего не докажешь, он может и больницу поджечь, вы смотрите. А я психопатка, да? Но женщины на работе успокаивают, что я еще молодая, и мое решение одобряют и поддерживают, ведь иначе он убьет.

ДОНТОР. Простите, что у вас за бумаги мужа?

ЖЕНЩИНА. Дурость сплошная. С Львом Толстым спорит. Повести недописанные, за Пушкина, Лермонтова дописывал. Другие спят и гуляют по ресторанам

Рыбзасольщицы Курил  
и Сахалина красными  
от холода руками пытаются  
снизить цены на сардины  
и сардинеллы, а Саратов?!  
А взять Астрахань,  
а в Архангельске вообще  
беспробудный народ! Пора  
будить Дальний Восток!

и вида не теряют, а я что? Вот вы водите жену в ресторан? Не водите – дурной тон. А не будете водить – ей обидно. Ну, как я выгляжу? Еще ничего, да?

ДОНТОР. Да нет, все нормально.

ЖЕНЩИНА. Где уж нормально? Чего врать-то? Врать-то чего? Это вы больным говорите. А женщины у вас есть в отделении? Нет? Поглядеть бы, как с ума от любви сходят. Есть такие? Нет? Начинайте с меня. А с жиру бесятся? У нас одна – чего не хватало? Муж тыщи таскал, все было мало, удавилась. Все смеялись. Муж мне говорит: я тебе тоже так подстрою. Он мне все время показывает разные веревки. Пойду в ванную стирать, там сверху висит веревка. Или показывают по телевизору удавов и змей, он говорит: смотри и запоминай. Это как вынести? А дочь меня продает. Он за мной бегаёт с топором, она уходит в кино и меня называет дурой. Она уже давным-давно не девушка. Как зубы почистила! А я как это перенесла? У вас дети есть?

ДОНТОР. Сын.

ЖЕНЩИНА. Это лучше. Хотя тоже на какую нарвется. Моей стыдно стало быть девушкой, немодно, несовременно. Весь Запад давно покончил с не-

вежеством, это как? Они, значит, передовые, ищут партнера сексуального совпадения, а мы отсталые. Так и умру без радости в постели. Да уж хоть бы в постели умереть, а не в петле. У меня матери не было, отца не было – в детдоме росла. Нас стригли наголо от вшей, дразнили, мы в одинаковых мешках-платьях ходили, всегда голодные, всегда злые, ждали своей жизни. И дождалась. Я так дождалась, что и в петлю не надо загонять, сама залезу. А повеситься думаю на площади, где были митинги демократов, пусть любуются на свои плоды. Какое вранье кругом!

ДОНТОР. Вы меня извините, у нас приближается час борьбы за свободу.

ЖЕНЩИНА. У вас разрешено бороться за свободу?

ДОНТОР. Да. Каждый день. По одному часу.

ЖЕНЩИНА. Я тоже буду участвовать в вашем мероприятии. Приготовлю танец-призыв за освобождение населения от цепей демократии.

На сцене санитар, трубит в самодельный рупор, психи собираются, снандируют: свобода, равенство, братство, эгалите, либерте, фратерните!

1-й ПСИХ. Даешь планирование, летание, парение в воздухе без моторов, с помощью воздушных потоков!

2-й ПСИХ. А в Воронеже сплят! В Ростове сплят! Украина сплит беспробудно! Беларусь храпака дает! Прибалтика ладно, она на шведов ориентиры держит, хай сплит, но Поволжье дрыхнет, вот что преступно!

3-й ПСИХ. Рыбзасольщицы Курил и Сахалина красными от холода руками пытаются снизить цены на сардины и сардинеллы, а Саратов?! А взять Астрахань, а в Архангельске вообще беспробудный народ! Пора будить Дальний Восток!

(Это место может быть лицом к зрителям?)

САНИТАР. Всем встать! Оголиться для принятия укола. Нагнись.

Все нагибаются.

ДОНТОР. Болезненные, горячие уколы называют у нас «японская мама» из-за сопровождающего вскрика.

Психи все разом выпрямляются с возгласом «япона мама». Начинают прыгать. Музыка. Танец «свободы». Возглавляет его женщина. Когда ванханалия заканчивается, на сцене лежит поэт Федор Турусин.

ДОНТОР. Каждый раз, когда заканчивается час свободы, на полу раздавленный, как таракан, лежит кто-нибудь из неприсоединившихся ни к кому. Федор Турусин – поэт, неприсоединившийся.

ТУРУСИН. Иваныч, разреши табачку, родителей помянуть. Хошь, политический анекдот расскажу? Выступает хор беременных женщин, поют: «Ленин в тебе и во мне». Ах, Иваныч, не повезло России с женщинами, податливы на пропаганду чуждых идей.

ДОНТОР. Федя, у меня работа.

ТУРУСИН. Твоя работа – твоя забота. *(Чихает.)* А какую горчичку мать моя разводила, хватанешь капелюшечку – и слезы льются, слезы льются из очей. А тятя сажал такой табак, куда там твоему. Вот чего большевики не дотумкали – табак запретить, чихать запретить. Чихнешь на все – и обновился. Не зря на Руси уважали чиханье. Будь здоров, говорили. А ты не сказал, не уважил.

ДОНТОР. Мало чихал. Давай еще.

ТУРУСИН. Ты что, меня за дурака принимаешь? В очередях, в автобусах, дома только и слышишь, как кричат друг другу: «Дурак! Псих ненормальный!» Кто тогда не дурак, когда каждого в его жизни называли дураком. Но кто называл? И почему дураки и особенно дуры лучше живут?

ДОНТОР. Не зная ответа на такие вопросы, я всегда уходил.

ТУРУСИН. *(Один. То ли молитва у иконы, то ли как заклинание.)* О, Боже мой, прости меня, живу я в мире, как свинья. Тело мое мою и наряжаю, а душу свою в ад провожаю. Чем же? Осуждением, блуждением, несправедным в мире хождением. Я, Федор Турусин, никогда перед бесами не трусил, в православную веру крестился, с бесами простился, пошел в мир обличать, администраты решили меня кончать. Дала мне власть копейку за труд, вот и поживи тут. Велели мне сделать такую замашку, чтоб я ел безбожную кашку. Ходили вслед за мной комсомолки, включали на всю мощь языкомолки, лица бесстыжие, волосы стрижены, груди голые, мысли комоные, сами лохматые, рогатые, дуры языкатые. Как их воспитать, мать не сообразила, сама безбожна, как тупая кобыла. Гореть вам в огне, живодристы, демократы и коммунисты. Сегодня двадцать пятое, среда, отойди от меня, беда, ибо мной управляет Христос, а не безбожный барбос. Научил барбос церкви ломать и чужих баб обнимать. А ты, дева, расти косу, не подчиняйся барбосу.

Пона читал заклинание, ему являлись бесы, то в женском обличье, то в чиновничьих пиджанах, то в лохмотьях. И все это под бой барабана. Н концы собираются обитатели дурдома. У некоторых таблички с названием своего клуба или партии.

ДОНТОР. У нас в отделении создано много клубов. Конечно, главный из главных – это клуб КТТС – как только, так сразу. Например: как только грянет гром, так сразу мужик перекрестится; как только ставится вопрос, так сразу на него находится ответ. Можно и поразвернутей, можно целую цепочку событий, например.

ЗУЕВ. Как только к нам приезжал дядя Вася, так сразу отец бежал в магазин.



ГОЛЕВ. Как только дядя Вася поднимал третий стакан, он сразу запевал.

ЗУЕВ. Как только дядя Вася запевал, так сразу наша собака начинала выть.

ГОЛЕВ. Как только наша собака начинала выть, так сразу соседи говорили: к покойнику.

ДОНТОР. И покойник являлся.

Проходят с табличками члены клубов, снандируя.

НЛУБ № 1. Мы члены клуба любителей покойного сиамского кота Фени, весившего при жизни двенадцать килограммов и умершего при невыясненных обстоятельствах.

НЛУБ № 2. А мы члены клуба спокойствия жизни в ситуации психических потрясений. Наша программа испытана среди жизненных бурь...

НТО-ТО. В стакане воды.

НЛУБ № 3. А наш клуб производит награждение по случаю пробуждения умственных способностей. Наш наполеон самый лучший.

НЛУБ № 4. Представляем клуб конца света. Но главное в том, что мы против конца света, поэтому требуем не выключать в отделении свет всю ночь.

Проходит одинокий пан спортсмен.

ПАН СПОРТСМЕН. Я, пан спортсмен, сделал открытие, что луна похожа на олимпийский диск, а солнце – на олимпийскую медаль. Но еще более ужасное открытие подстерегало меня...

Проходит агроном-правдолюбец, делает вид, что рубит дрова.

АГРОНОМ. Надо работать, а не мозги компостировать. Когда на газ перейдем, дровоколов будем сокращать. Но! Если пить будем, остатки совести пропьем. Нам не нужно красивое лицо, его проститутке барби подавай, нам нужна работа! Да день, да два, да три поколоть дрова, да всю жизнь, только так коммунизм построим. А портфели могут и старушки носить!

Врывается Батюнин.

БАТЮНИН. У меня только два слова. От первого заранее отказываюсь. Но как, скажите, братство психиатров, как относиться к тому, что закат солнца уже описан и сдан по описи вечности, как?

ДОНТОР. И восход описан.

БАТЮНИН. Тогда организуем фирму: «Мишка на севере, Машка на юге» или короче: «Вани и мани-мани», а? Доктор, у меня аннексировали, то есть свистнули сверхавторучку. Нажимаешь кнопку – пишет сама по заказу и по погоде и обстоятельствам. В конце каждой главы герой прыгает с парашютом. При этом полковники в автобусе поют: «У нас в подразделении хороший есть солдат, пошел он в увольнение и пропил автомат».

ДОНТОР. Вы говорили, что у вас только два слова.

БАТЮНИН. Я только начал! Включаю описание черного пуделя, пришедшего на встречу с кандидатом демократов, и описание того, как кандидат перелаял пуделя. Доктор, а чем плохо описать, как везли товарные составы: один мясо, другой вино, вместе пришлось стоять. Началась дружба. Пили и ели за красный цвет светфора, и это здорово получалось, ибо красен был сок изабеллы, красны руки мясников, краснели глаза поутру с похмелья! О, как великолепно песня на слова мясокомбината и музыку спиртзавода. И вот, доктор, вдоволь и мяса, и вина, а все не проходит голод на героя нашего времени.

Появляется йог Витя.

ДОНТОР. Вот тебе герой – йог Витя из Рязани. Какой он герой? Интересен только тем, что из Рязани. Зачем Вите из Рязани йога? Витя, вспомни предков, они на голове не стояли, и в России все по дурацки не шло, пуп не рассматривали, а с утра на пашню,

Любящей женщине всегда  
веселее смотреться  
в лысину любимого, нежели  
в одинокое зеркальце.  
И вот жена видит, что  
врагинь у нее – весь  
женский мир, что умри  
она – ее мужа захоронят,  
что бобыль один на  
миллион, что на ее кухню  
может прийти какая-то  
мерзавка и так далее.

за серп, за топор, за тяжкий молот.  
Тут йоге слабо справиться.

ВИТЯ. Харе Рама, Харе Кришна, Харе, харе,  
харе...

БАТЮНИН. И чего ты со своей харей достиг?

ВИТЯ. Отрешения.

БАТЮНИН. От чего?

ВИТЯ. От жизни. *(Садится в позу, например,  
лотоса.)*

БАТЮНИН. Витя, хлеб дорожает. Витя, детей  
кормить нечем.

ВИТЯ. Отойди от меня, образованец. Я ме-  
дитирую.

БАТЮНИН. Витя, не занимайся рерихоедством.  
Рерих делал из религий сборную  
солянку, а твои махатмы, Витя, очень  
радовались гонениям на правосла-  
вие! Махатма Ленин очень им подхо-  
дил.

ВИТЯ. Доктор, вы за?

ДОНТОР. Иди размышляй. Иди, иди.

ВИТЯ. Иду, доктор. Запомните, есть такие  
дураки, что туфлю у Папы Римского  
целуют! Размер не знаю.

ДОНТОР. Продолжим исследования случаев  
отклонения от нормы. Естественно,  
что я, русский врач, изучая русских  
больных, сравнивая их с другими,

вижу, что национальное влияет  
на психику. Скажи кому угодно, что  
живет как-то не так, разве поверит?  
А русский: «А, считаете, что живу не  
так, я и буду жить не так. Не вери-  
те, что живу честно, надо мне для  
вашего оправдания подворовывать –  
ворую. Не доверяете – домыслим.  
Хотите еще сильнее обгадить – по-  
можем, сами на себя что угодно  
наговорим». Вернемся, друзья, в клуб  
друзей разума.

ХАЛЯВИН. Давайте поставим гоголевский  
вопрос о куда доехании колеса на  
уровень вопроса: куда дойдет че-  
ловек? До областной администрации  
дойдет?

ЧЛЕНЫ КЛУБА. Просто-запросто.

ХАЛЯВИН. А до Белого дома?

ЧЛЕНЫ КЛУБА. Элементарно.

ХАЛЯВИН. А до другого белого дома?

ЧЛЕНЫ КЛУБА. Можно.

ХАЛЯВИН. До Северного полюса?

ЧЛЕНЫ КЛУБА. Двухногая тварь дойдет куда захо-  
чет.

ХАЛЯВИН. А вот вопрос: куда не дойдет чело-  
век?

Члены клуба молчат.

ХАЛЯВИН. Ответ такой: Человек не дойдет до  
самого себя.

ЧЛЕНЫ КЛУБА. Почему?

ХАЛЯВИН. Кишка тонка.

Члены клуба надолго задумались.

ПАН СПОРТСМЕН. Мужчины живут меньше женщин.  
Вот свидетельство: все безутешные  
вдовы любят своих покойных мужей.  
Тогда зачем же они загоняли их  
в гроб?

Члены клуба зашумели.

ПАН СПОРТСМЕН. Не надо криков, разберем-  
ся спокойно. Срок жизни мужчин  
сокращается специально вот почему.  
Мужчина способен влюбляться до  
седых волос, даже до лысин. А что  
лысина? Любящей женщине всегда  
веселее смотреться в лысину люби-

мого, нежели в одинокое зеркальце. И вот жена видит, что врагинь у нее – весь женский мир, что умри она – ее мужа захоронят, что бобыль один на миллион, что на ее кухню может прийти какая-то мерзавка и так далее. К этому сроку муж ее, как и другие, уже беспомощен во многих отношениях: за ним стирай, ему подавай, ему напоминай, он зависим от жены полностью. До жены доходит – не от меня он зависит, а от obsługi, от женщины вообще. Нет, лучше любить его мертвого, но принадлежащего только ей. Теперь вообразите эти истерики, эти сцены ревности, эти припадки усталости и болезней, эти упреки и подозрения. Они слона в могилу загонят, не только мужчину. Подымите руки, сколько в нашем клубе экземпляров сбежавших от своих половинок не в могилу, а в дурдом?

Все поднимают руни, два не подняли.

ЗУЕВ. А Турусин почему руку не поднимал?

ТУРУСИН. Мне жена руку сломала.

ЗУЕВ (*соседу*). А ты почему не голосуешь?

БОЛЬНОЙ. Жена не велела.

АГРОНОМ. А все-таки почему все идет по дуррачки?

ГОЛЕВ. А потому, что все только для себя умные.

АГРОНОМ. А я считаю, что ум и деньги – близнецы-братья.

ХАЛЯВИН. Нет, для умного дело не в деньгах.

ЗУЕВ. Значит, умные здесь, у нас, у нас же нет денег, мы все вопросы решаем бесплатно, это не госзаказ, не хоздоговор, не аренда, не подряд, плата не аккордна, вообще платы нет.

Халявин играл на гармошке и пел одну фразу: «Ох, полным-полна ноборушна...»

ДОНТОР. Мои больные отлично знают, что, во-первых, они совершенно здоровы, что, во-вторых, это весь мир сошел с ума, поэтому они ушли из мира,

чтоб хоть кого-то сохранить нормальным.

Входит санитар с бутылкой то ли ленарства, то ли еще чего.

САНИТАР. А ну, кому тут не нравятся реформы?

Все достают по целлофановому мешочку, и санитар наливает им из бутыли.

САНИТАР. Диктую манифест. Всем записывать! И не думайте, что ветер называется западным, если он дует на запад. Пишите. Мы, поднимающие голову от подушки веков и еще не сообразившие, где мы находимся, торжественно проклинаем все причины, ведущие к выпивке, мы освобождаем все праздники от хмельной окраски, крестины и поминки, встречи и проводы, печали и радости, отвалы и причальные, закуржанные, стремянные и закордонные, авансовые и зарплатные, банные и ваннные...

ВСЕ ХОРОМ. Лучше быть нематым, но трезвым!

САНИТАР. ...Проклинаем выражение уважения чужой родни к родной родне посредством опять же выпивки, клеймим позором обмывки диплома, аттестата, свидетельства, удостоверения, сделки, премии, гонорара, договора, клеймим любой возглас, подстрекающий к пьянке, типа... (*Дирижерски взмахивает руками.*)

ВСЕ ХОРОМ. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддаться. Ручки-ножки стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Не раскинуть ли умом, не послать ли за вином... Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?

САНИТАР. (*Продолжает речитатив.*) ...Проклинаем все места, подстрекающие к выпивке: гаражи, забегаловки, пивные, рыгаловки, стоячки, стекляшки, теплушки и вагоны, все места, где расстилаются обрывки газет, на которых лежат две помидорки, кусочек сыра и кусок хлеба, а посудина ходит по кругу. О, лужайки, обрывы, откосы, скверы,

усеянные пробками, – горем взошли они по русской земле. И тебе проклятие, колченогий стол, что не сломался под пагубной тяжестью ядовитых жидкостей, этой людской погибели, и ты, крахмальная ска-терть, сволочь такая, захвати с собой все градусное питье, подними в поднебесье, да на радость всего люда шибани его оттуда! Проклятье, вам, винные, водочные, коньячные этикетки, вы, как лаковые проститутки, раздели и разули многие семьи, отняли у взрослых разум, а детям его даже и не дали. Какие вы названия загребли себе?

ЧЛЕНЫ КЛУБА. *(По очереди выкрикивают.)* «Золотое кольцо», «Русская тройка», просто «Русская», «Молодецкая удаль», «Дымка», «Завалинка».

САНИТАР. Постыдились бы!..

ЧЛЕНЫ КЛУБА. «Аромат степи», «Утренняя свежесть», «Вечерний свет».

САНИТАР. Верните, собаки, имена, не вам их носить.

ЧЛЕНЫ КЛУБА. «Арабат», «Молдова», «Букет Абхазии».

САНИТАР. Вам нужны другие клички.

ЧЛЕНЫ КЛУБА. «Мертвецкая», «Запойная», «Анти-русская», «Кровь гадюки», «Бешеная желчь», «Свиная отрыжка».

САНИТАР. Проклинаем тебя, закусочная еда, вызывающая желание залить себя отравой винного пойла. Ты, килька – «Хор Пятницкого», сестры Федоровы, вы, лосось и семга, колбаса и шпроты, сыр голландский, даже мануфактуру проклинаем, ибо доходило у нас до занюхивания рукавом.

Но признаемся в финале: виноватее всего мы сами. Никто нам в рот воронку не наставляет и насильно не льет. И руки сами – отсохли бы за это. Оттого-то все в нашей голове мокрое, вином притоплено, залито, запущено, хлюпают в ней редкие мысли, рождаются и тут же захлебываются... Записали?

ЧЛЕНЫ КЛУБА. Записали.

САНИТАР. А вы, доктор, записали?

ДОНТОР. Записал.

САНИТАР. Тогда налейте. Иначе мне полный шандец!

ДОНТОР. Наши клубы-клубки-клубочки, которые стояли на разных политических платформах, сразу же образовали единый и нерушимый клубок, как только в отделении появился иностранец.

Звучит музыка, и на сцену выходит Иностранец.

ИНОСТРАНЕЦ. Россия лучше всех! Я говорил это всем и везде!

ГОЛЕВ. Ну вот, за это и замели...

БАТЮНИН. Но ведь ты никак не мог идти по раз-делу великодержавного шовинизма, ты же не русский.

ИНОСТРАНЕЦ. Увы, как раз я заболел оттого, что русские не хотели меня слушать. Я им говорил, что вся Европа построена на русское золото, мне отвечали: ну и что. Я говорил, что вся мировая наука движется открытиями русских ученых, мне говорили: да и плевать, пусть движется. Я говорил, что вся мировая философия идет в русле, предсказанном русскими философами, русские пожимали плечами и говорили: ну это же естественно. Я тогда кричал: ну где же ваша гордость? Мне отвечали: а зачем? Тут заболеешь. А вы примите от меня большое огромное русское спасибо.

ЗУЕВ. За что?

ИНОСТРАНЕЦ. За то, что вы меня выслушали.

ВСЕ. Большое огромное русское всегда пожалуйста.

ИНОСТРАНЕЦ. Представьте госбюджет России.

В этот бюджет острым углом врезается пирамида госадминистрации и прорезает госбюджет, делая в нем множество отверстий, через которые госбюджет начинает утекать. У каждого отверстия сидит по чиновнику, а под ним подчиненная ему система, чиновник, стараясь побольше отхватить на свою систему, старается разодрать свое отверстие пошире, чтобы из бюджета на него хлынуло побольше дотаций.

ХАЛЯВИН. Каково? Если кто-то что-то понял, я рад за него, сам я – пас.

ИНОСТРАНЕЦ. Послушайте! В России все есть: нефть, золото, бриллианты, алмазы, уголь, руда, любые недра! Русские люди необычайно трудолюбивы и искусны в любой мастерстве – хоть блоху подковать, хоть что! Любое русским по плечу. Согласны?

ВСЕ. Ну?

ИНОСТРАНЕЦ. Но почему же вы живете хуже всех?

ЗУЕВ. А не хотим. Нам и так хорошо.

ИНОСТРАНЕЦ. Тогда я не знаю, что сказать...

БАТЮНИН. И не говори.

ИНОСТРАНЕЦ. Но послушайте. Мне вас жалко. Кто только не живет за ваш счет, сколько паразитов плодится и жиреет на русской земле...

ГОЛЕВ. Да и пусть.

ИНОСТРАНЕЦ. Как пусть?!

ГОЛЕВ. А гореть им в огне.

ИНОСТРАНЕЦ. Но до того, как они попадут в адский огонь, они вдоволь наиздеваются над вами. Все испытано на русских: обман, стравливание, запугивание, грабежи, и вы терпите. Неучи, унтеры и вахмистры, конники, пьяницы и мародеры, зятья и мужья масонской мафии правили вами, и вы терпели. Вы и сейчас терпите опричников и палачей...

АГРОНОМ. Это уж ты через край.

ИНОСТРАНЕЦ. Надо куда-то звать народ!

ПАН СПОРТСМЕН. Плюнь. Не мучайся, не разоряйся.

БАТЮНИН. Пойми, в любых переворотах гибнут лучшие. Они пожираются все теми же прохиндеями, которые повсюду и повсеместно. Приходит время понять, что с Россией все будет в порядке.

ТУРУСИН. Россия – солнце судьбы нашей, как ни заслоняй, неостановимо. Сиди и грейся.

ИНОСТРАНЕЦ. Что вы молчите о главном событии последних веков – о гибели России? За это молчание будет возмездие! *(К Доктору.)* Доктор, вы видите, они меня не понимают. А ведь ко мне пришел Вольтер и говорит: «Бог нужен как узда для простого народа». А я же простой народ, он надел на меня узду, я и заржал. *(Начинает ржать.)*

ЗУЕВ. Ты не в конюшне. Еще овес жрать начнешь.

ИНОСТРАНЕЦ. Вот видите, Доктор.

ДОНТОР. А сам Вольтер в узде приходил?

ИНОСТРАНЕЦ. Во фраке. Но без спины. Когда уходил, повернулся – спина голая. Они же, иностранцы, экономят на материи, хоронят в покойницкой спецодежде...

ЗУЕВ. Слышь, иностранец, давай драться по-иностранному.

ИНОСТРАНЕЦ. Как это?

ЗУЕВ. Рессорами от «тойоты»...

ДОНТОР. Этот эксперимент я не разрешаю.

БАТЮНИН. Вы не имеете права запрещать. Вот если бы вы были начальник повыше.

ДОНТОР. Где повыше?

БАТЮНИН. Повыше. *(Показывает на потолок.)* А впрочем, сейчас будете повыше. Начали!

Психи вооружаются простынями и начинают обматывать Доктора.

БАТЮНИН. Есть четыре момента любого явления: притяжение, отталкивание, скручивание и совокупность. Проверим бесспорность этого положения.

Подтягивают Доктора к потолку, и он начинает летать.

ДОНТОР. Замотали! Замотали! Ну, да и ладно. Все равно уж скоро ночь. А ночью на тебя наплывают мысли и изображения телевизионного экрана.

На сцене появляются существа мужского пола во фраках с рогами и в лаптях. Тут же существа женского пола, длинноволосые, с крыльями бабочек и с набедренными повязками. Идет то ли танец, то ли пантомима.

ДОНТОР. Если бы деды встали из гробов, они не поверили бы, что я говорю о России. Решите краткую задачу. Ее условие: ты включаешь телевизор и ни по одной программе не видишь ни одного русского лица. Вопрос: в какой стране ты находишься? В России?

Надо бороться, надо  
добиваться прав. Даешь  
правовое государство  
бесправных граждан! Ура!  
Правами по бесправию!  
Да здравствует сила  
права, переходящая  
в право силы!

Да, ответ правильный, в России. Именно в России, где культ денег был презираем, деньги стали на первом плане, желтый дьявол уже не только машет хвостом, но и все пожирает: семью, общество... В России стало не стыдно «зарабатывать» деньги порнографией, развратом, грабежом, спекуляцией, мало того, в России оказались чиновники правительства, поощряющие взяточничество, пошлость, насилие. Усилилась агрессивность, развивается цинизм, человек не надеется больше на государство. У нации нет духовных лидеров, а если есть, их не слышат.

Ванханалия продолжается.

ДОНТОР. Убивается национальное своеобразие: национальная русская музыка, костюм, кухня, национальный орнамент, угасли песни и сказки; былины, пословицы и поговорки больше не помогают, ибо забыты как легенды. Остались пошлые анекдоты, политические, развратные и к тому же опошляющие русскую нацию. Русских все меньше и меньше.

Ванханалия продолжается.

ДОНТОР. Среди бесовских методов обработки русской психики главная роль

отводится оружию слова. Когда читаешь на свежую голову все эти издания «Всхлипгазет», «Столичных сексомольцев», провинциальных «Наблюдателей», всяких обозрений, то диву даешься обилию злобы на все русское.

Ванханалия продолжается.

ДОНТОР. Бесовское оружие проявляет себя и в парламентских дискуссиях. Выступления депутатов полны страсти, борьбы за счастье народное, дело доходит до драки, кипит работа. За неделю принято десять законов, в следующую двадцать – и что? И где те законы, и кто их выполняет, и где то счастье народное, где тот народ?

Ванханалия продолжается.

ДОНТОР. Православие считает свободой способностью человека бороться с пороками, бесы же внушают мысль, что свобода – это делай то, что хочется. Пришла свобода, свобода жулью, вору, мафии любой окраски. Тебя очень свободно бьют по голове и плакать не дают. Какой сейчас общественный строй? Социализм? Капитализм? Сейчас сволочизм.

ОДИН ИЗ БЕСОВ. Почему же русский человек не стряхнет со своих плеч бесовских слуг?

ДОНТОР. Потому что они в натуральном человеческом, доброжелательном обличье. А русский всегда приходит на помощь к кому угодно, только не к своим родным и близким.

ДРУГОЙ ИЗ БЕСОВ. Ну скажите же, скажите, господи, ведь это исторически справедливо, то, что русским нужно выпить чашу страданий малого народа. Не так ли?

ЕЩЕ ОДИН БЕС. Так ли, не так ли, перетакивать не будем. Русские – малый народец-с.

ДОНТОР. Как тут остаться спокойным? Русские все принимают близко к сердцу, их легко вывести из себя, а бесы, используя доверчивость русских, все



подбрасывают им новые бессмыслицы под видом важных проблем, здоровых идей.

**ОДИН ИЗ БЕСОВ.** Надо бороться, надо добиваться прав. Даешь правовое государство бесправных граждан! Ура! Правами по несправедливости! Да здравствует сила права, переходящая в право силы! Усе на митинг!

**ДОНТОР.** Только русское терпение можно испытывать безгранично. Но уже и терпение наше плохо нам помогает. Русская психика измотана и подавлена, раздражена и воспалена. В переводе на состояние отдельного человека это означает слабость, вялость, апатию, быструю усталость, чувство одиночества, обиду, что некому за тебя заступиться.

**БЕСЫ.** Подчиняйтесь нам, мы заступимся. Кланяйтесь, кланяйтесь нам! Будете счастливы. Мы умеем заботиться о своих рабах.

**ДОНТОР.** Борьба с бесами есть и очень эффективна: надо делать свое дело и не обращать на них внимания. Негодяев не переделать, отойди от нечестивца! Русских спасает прошлое, у бесов только настоящее. Наши святыни нетленны, их в грязь не втоптать. Святая Русь – не пустые слова, она в душе нашей.

**ОДИН ИЗ БЕСОВ.** По какому праву вы говорите от имени русского народа?

**ДОНТОР.** А по такому, что я – русский, вот и все.

Ослабляются, опускаются веревки, которыми он был связан и подвешен, развязываются, Донтор среди бесов.

**ТУРУСИН** (*появляясь со стремянкой, раздвигая ее, на нее залезая*). Доктор, поднимайтесь ко мне. Воспаряйтесь над бездной, над делателями беззакония. Ума у вас нет на простые вещи. Разве можно масонов, как тараканов, выморозить? Масоны же не тараканы, они, скорее, клопы или блохи. Вымораживанию не поддаются. Скорее, тут подойдет прожарка, но масоны

в основном из жарких стран, привыкли потеть.

Оба сидят сверху.

**ТУРУСИН.** Поговорим об эстраде. Почему так всегда у наших юмористов: как дурак, так русский? Пьяница, бюрократ – Иванов. Но русское пьянство – это вид протеста против тех же масонов, тех же демократов, тех же коммунистов. Впасть, так сказать, в анабиоз и переждать два-три столетия, пока воздух над Россией не очистится. Кстати, наши писатели могли бы вполне называть своих героев по фамилиям легко читаемым, например: Усрадзе. Или Асратияни. Или Потаускас. Или Пододрщенко. Или вообще Засратишвили. Они же обидятся. А обидятся – мы скажем – это художественней образ, это на память о тупом доценте Петяеве, так ведь, доктор?

**ДОНТОР.** Спи. Спи. (*Спускается на уже опустевшую сцену.*) Ох, заизвестковался скелет, закостенело сердце...

**ТУРУСИН.** До третьих петухов буду спать, как петух на насесте, чтоб утром своим петушиным криком разбудить Россию. (*Подрежав секунду, вздрагивает.*) Нельзя спать, а то ночь не кончится. Запела курица – к несчастью. Примета древняя, как мир. Россия режется на части, как режут вздорожавший сыр. Прибалты отслоились и бендерцы, кавказцы, западенцы и кайсаки. Нам показали, где зимуют раки партакратийцы и эсэсэерцы... Закончится взаимным грабежом, царапайтесь на радость интервентам, к нам вместе полупьяным президентам ворвалась демократия с ножом... С ножом в руках и нож на голенище. Чего и ждать – забыли христианство. Погибнет Русь, останется пространство, или, верней, большое пепелище... Нам бочку арестантов наболтав, ушли по фондам Мишки и политики – от коммунизма сломанные винтики, заржавленные шляпки от болта...

Последний век, его совсем немного, разграблена Россия и прибита. Телами русских вымостят дорогу, чтоб сатане пройти со свитой. «С вещичками!» – скомандует сержант какой-то армии китайско-европейской. Пойдем все дальше вниз по этажам, пока язык не вспомним арамейский... *(Встряхивается, бьет себя по бокам, как петух крыльями, кричит.)* Ку-ка-ре-ку! *(Прислушивается.)* Проста наша жизнь, как полет червяка, кончаются веком двадцатым века... *(Еще прислушивается.)* Заметки горестные пишет идиот, как новый Геродот упрям и светел. Настало двадцать первое столетие, и мы дрожим от страха у ворот. *(Снова кричит по-петушиному, психи выбегают на зарядку.)*

ДОНТОР. По росту, по интеллекту, по количеству извилин, по скорости соображения... становись!

ПСИХИ. Меня сегодня послушайте! Меня! Всех послушать!

СЕНЯ. Никого слушать не будем, только меня, Сеню Ганзу. Дискуссии кончились, началась демократия. Валютные дела начались. В первой палате вводим денежную систему ежиков. Получите. Вторая палата получите назербайки, третья будет жить на деньги с изображением галушки в сметане.

Все (охотно!) разбирают деньги: даром дают.

БАТЮНИН. Сеня, зачем разбивать единую денежную систему? Уважающее себя государство не разрешает чужим деньгам входить на свою территорию. Какой золотой запас у галушки и назербайки? Нас же мгновенно слопают доллар.

ТУРУСИН. Вначале Сеня слопают.

СЕНЯ. Где корыто? *(Приносят.)* За понимание сложности процесса демократизации денежного обращения вы, Турусин и Батюнин, награждаетесь (достаёт медалки, сделанные из алюминиевых ложек) орденом номер

один больницы номер один с нулями. *(Прикрепляет награды.)*

БАТЮНИН. Все очень мудро и правильно, только нужно открыть обменный пункт валюты.

СЕНЯ. Граждане, если все будете понимать и поддерживать наши реформы, то каждый из вас, из этого корыта получит орден или, на худой конец, медаль. Здесь и льгот всевозможных у меня тоже много.

ТУРУСИН. А звания у вас есть?

СЕНЯ. Какое хочешь?

ТУРУСИН. Хочу быть народным поэтом.

СЕНЯ. Вот тебе удостоверение всенародного поэта палаты №... Цифру сам поставишь.

ЗУЕВ. Тебя не только народ, тебя на твоей улице не знает ни одна курица.

СЕНЯ. Не нужно завидовать, Зуев. Тебе тоже медаль положена. Доволен? Да плюс тебе льгота – дышать у форточки.

ВСЕ. А нам, нам осталось что-нибудь в корыте?

СЕНЯ. Не волнуйтесь, в нашей больнице наград и званий никто не избежит, все получают – одни за услуги, другие за выслуги, третьи за обслуги. Все получают по заслугам. А сейчас все дружно поддержим мои реформы. Для начала приватизируем туалет.

Двое психов вносят нужник, красиво отделанный, открывают дверь.

СЕНЯ. Вот туалет. Помните, какой он был?

ВСЕ ПСИХИ. Войти было нельзя.

СЕНЯ. А теперь – после моей приватизации? Стекла вместо фанеры, полотенца, чистота, цветы, запах ночной фиалки.

Все рванулись к туалету.

СЕНЯ. Всем стоять. Вход будет платный. Деньги вам выданы. Интеллигенты среди вас есть?

ПАН СПОРТСМЕН. Я недавно стал. Им. Конкретно.

СЕНЯ. Сядешь у входа, будешь собирать валюту. Жулики есть?

ГОЛЕВ. *(Вытаскивает вперед Халявину.)* Вот он, когда в карты играет, жульничает.

СЕНЯ. Сядешь в обменный пункт.

ВИТЯ. Сколько я получу долларов на мои ежики?

СЕНЯ. Сколько у тебя ежиков?

ВИТЯ. Сто двадцать.

СЕНЯ. Один доллар обменивается на миллион ежеиков.

ВИТЯ. А сколько стоит вход в туалет?

СЕНЯ. Один доллар.

ВИТЯ. Выходит, я?

СЕНЯ. Выходит.

ЗУЕВ. А сколько стоит, если пойти мимо туалета за туалет?

СЕНЯ. Пока бесплатно.

ЗУЕВ. За туалетом бесплатно!

Все бегут за туалет.

ПАН СПОРТСМЕН. Темные, что с них взять. Конкретно.

СЕНЯ. Их не переделать. Одна у меня надежда на вас, интеллигентов. Вы, интеллигенты, знаете, как угодить любым властям. Вам осуществлять мои реформы. Только помните, что демократия и тирания – близнецы-братья. Мы откроем с вами Гайд-парк, где каждый может выкрикивать любую глупость или дикость или говорить что-то умное, если на ум придет. Тем самым мы сведем к нулю действия любых высказываний.

Психи выходят из-за туалета с ворчанием: «Разжился на дерьме, деньги девать некуда. Занабалил нас».

СЕНЯ. Граждане, граждане! Я же все для вас!  
У меня ничего нет. Я готов кричать  
об этом у каждого туалета.

ЗУЕВ. Именно такие и кричат... Я тоже, как только разживусь, сразу начинаю приbedняться.

ПАН СПОРТСМЕН. Я, как интеллигент, буду выражаться научно. Власть Сени законна и безгранична. Сеня конституционен, непогрешим и заодно легитимен. Сеню может снять только референдум. А референдума мы не допустим.

СЕНЯ. Интеллигента награждаю орденом за преданность. За преданность народа

передо мной. И, чтоб немного отвлеклись от трудностей жизни, каждому даю по медальке и льготу в виде бесплатного проезда на велосипеде!

Все закричали «ура!».

ПАН СПОРТСМЕН. А теперь хор душевнобольных больных исполняет психитриаду для барабана и деревянных ложек, с со-листом, дирижером, голосами и подголосками. В психитриаде упоминается термин «делириозный» – это горячечный бред. Еще упоминается термин «императивные голоса» – это значит, приказывающие голоса, которые постоянно слышат шизофреники, остальное понятно.

Солист запевает.

СОЛИСТ. Беги в бреду делириозном,  
Закрой все двери на засов.  
Но не уйдешь от этих грозных  
Императивных голосов.

ХОР. Вы-тер-пим! Вы-тер-пим!

СОЛИСТ. Смотрю ль бредовый телевизор, бреда  
ль в какие-то края,  
мне кажется, что шизо, шизо, что  
психопато-шизо я.

ХОР. Вы-тер-пим! Вы-тер-пим!

СОЛИСТ. Маниакально-депрессивный,  
Тяжелым занятый трудом,  
Стоит среди полей России  
Наш полный разума дурдом.

ХОР. Вы-тер-пим! Вы-тер-пим!

*Конец I части*

## Часть II

|||||

Обеденный стол в виде перевернутой плоскодонки. Обедают давно и кричат давно.

ГОЛЕВ. Хватит агиток! Дайте и нам сказать. Мы тоже не без мыслей, обед у нас таков, что кровь не уходит к желудку, остается в голове. Это тоже внушенная мысль, что у нас

все за гранью. Грань есть, нищета есть, недоедание и недосыпание, но бывало хуже, хотя и реже. Вытерпим! Ну, хором! Три, четыре!

**ВСЕ КРИЧАТ.** Вытерпим! Вытерпим!

**ХАЛЯВИН.** Мы не братья по разуму со всеми, мы братья по несчастью! Дождь падает с неба, чтобы заразиться на земле. Будущее спасет не цивилизация, а сострадание и самоограничение. Самодостаточность – это самообольщение. Молиться и вверять себя в руки Божии, Он направит. Рас-творить свою волю в судьбе. А наше дело – сокращение потребления, ограничение потребления, внимание ко всем, требование к себе. Если эти несколько фраз выучить и исполнять, то мы спасемся. Повторить?

**ВСЕ.** Не надо. Мы уже записали!

**ХАЛЯВИН.** Скажу иначе: люди или ничего не делают, или делают какую-то ерунду, лишь бы не жить. А что такое жить?

**ВСЕ.** Что?

**ХАЛЯВИН.** Готовиться к смерти.

**ВИТЯ.** Но ведь готовиться к смерти можно ничего не делая. Готовься не готовься...

**ХАЛЯВИН.** Ничегонеделание или чтотоделание не есть подготовка к смерти, надо уметь покаяться.

**СЕНЯ.** Тогда надо грешить, ибо не согрешивши не покаешься.

**ХАЛЯВИН.** Мы уже столько нагрешили, что страшно представить.

**ЗУЕВ.** Наш путь иной, наш путь в тоске...

**ХАЛЯВИН.** ...Чур, не в безбрежной!

**ЗУЕВ.** Но вот ту же Америку зачем догонять? Глупо догонять. Ну-ка, россияне, взгляните из-под ладони, как Илья Муромец, кто там маячит, кого там догонять? Никого там нет, голое пространство. Мы впереди всех, давно впереди. Давным-давно. От того на нас злоба лютая, от того и шипение – сами ничего не могут сочинить и изобре-сти, кроме порнографии и предметов роскоши, вот и тявкают. Это они, кста-ти, изобрели дезодоранты, ибо потеют сильно и пахнут мерзостно, и чтобы не было противно рядом с ними сто-ять, себя часто опрыскивают.

**БАТЮНИН.** Это легкое дело – кого-то обви-нять в русских бедах, сами хороши. Над нами издеваются – терпим, за людей не считают, соглашаемся и так далее. Оно, конечно, не перед кем оправдываться, кому мы скажем, что мы лучше всех, что от нас зависит спасение мира, что если Россия погибнет, то остальные погибнут ав-томатически. Так что нас не ругать, а беречь надо. Кому это скажешь? Москам и шавкам, которые за штаны цепляются?

**АГРОНОМ.** Главное, что говорят о перестройке ее прорабы, ее первоапрельские ав-густята, говорят, стискивая зубные протезы: Россия к демократии не го-това. Это они говорят, естественно, с ненавистью, но мы скажем: никогда и не будет готова, вы со своими мон-диализмами шахеры-махеры танцуете, туфли папские лобызаете, Россия вам никогда не поддастся, ее вам никогда не покорить.

**ПАН СПОРТСМЕН.** А демократов не переделать!

**АГРОНОМ.** И не надо. Горбатого ставь к стене, все равно будет горбат, все равно не выпрямится.

**ИНОСТРАНЕЦ.** Например, Россию грабят. Что же Россия молчит?

**ВИТЯ.** Потому молчит, что грабят матери-ально. Грабьте. Кошка скребет на свой хребет.

**ТУРУСИН.** Я человек довольно мирный, но если мне в шестом часу не поднесут стакан имбирной, я все тут на хрен разнесу.

**СЕНЯ.** Я говорю своему внутреннему «я»: поешь. Мне мое внутреннее «я» от-вечает: «Я уже поел». И хотя я знаю, что я еще не ел, но я верю своему внутреннему «я».

**АГРОНОМ.** Есть сажатели, а есть копатели, а ты тут со своим «я». Сажатели сажают, копатели копают, никаких внутренних «я». Меня за раздвое-ние личности дед еще в детстве выпорол. «Наноси воды в баню». Я отвечаю: «Мое внутреннее «я» хочет идти на речку». За это порют, рыжий! Что внутренний, что вне-шний, что с того? Мы, знайте все, мы

промукали Россию! Кто не согласен?

ВСЕ. Так и есть. Все согласны.

АГРОНОМ. А как жить дальше?

ЗУЕВ. Как? По уму будем жить.

ИНОСТРАНЕЦ. Но это же неправильно. Как можно надеяться на свой слабый разум? Наша вина именно в том, что мы сами решали, как жить. Так? И тут нам навязывали образ жизни. Вы же видите, что теми, кто нами управляет, управляют те, кто ненавидит Россию. Я пришел сюда именно из-за того, что здесь царство души, здесь психика, здесь душевнобольное братство. Болит русская душа? Болит. За все болит, за весь Мир.

БАТЮНИН. Именно так! Там *(жест в зал)*, за забором, царят дикие нравы, там произвол мысли. Мысль – оружие, оно наращивает мощь, но с ним можно сразиться. Мысль бессильна перед верой. Программа уничтожения России не должна перейти в программу самоуничтожения. Предлагаю нарастить забор как можно выше, желательно до неба, чтобы к нам проникли только небесные вести.

ВИТЯ. Нет! Забор до неба – это напоминание Вавилонской башни. Предлагаю углубиться в гору разума, наделать в ней пещер и тоннелей, там жить. Изредка выходить, чтоб узнать, жив ли еще гомо сапиенс?

ТУРУСИН. Пришли иные времена, цветет родная сторона. Но люди все еще живут во глубине сибирских руд.

АГРОНОМ. Нет! Мы должны плыть на нашем корабле вперед.

Переворачивают стол, он становится плоскостной. Ное-кто залезает в лодку, остальные ее раскачивают.

АГРОНОМ. Мы поплывем во вселенском просторе. Русский корабль пойдет верным курсом. Но хотят нас взять на абордаж, налипли со всех бортов, пищат, лезут к штурвалу, набились во все каюты, только в машинное отделение ходить не любят, там мы работаем,

масоны солярки боятся, от ее запаха им дурно.

ТУРУСИН. А мы в ихние дезодоранты солярки добавим.

АГРОНОМ. Отчаливаем! Спасение будет идти изнутри России или ниоткуда!

ВИТЯ. Бога не забывай!

ИНОСТРАНЕЦ. На Бога надейся, а сам не плошай! И это, однокорытники вы мои, очень божественная пословица. Самим надо шевелиться.

АГРОНОМ. Россия всегда стоит на краю пропасти.

ВИТЯ. Мир проваливается в пустоты, оставленные христианством.

СЕНЯ. В серебре и золоте завелись жучки, поедающие и то и другое. Жучки-железники прожорливые, в серебре и золоте появляются дырки, как в российском сыре или как в старой мебели.

ПАН СПОРТСМЕН. Культура погибла от сомнений и объедена политиками.

БАТЮНИН. Все реформы в России заканчиваются умножением числа чиновников.

ИНОСТРАНЕЦ. Все революции в России были анти-русскими.

ТУРУСИН. Тогда зачем, скажите, люди, если так живет народ, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед?

Входит санитар.

САНИТАР. Стоп! Накатались? Нараскачивались? На берег!

ПАН СПОРТСМЕН. Какие мероприятия нас ожидают?

САНИТАР. Посидим поокаем. Каждому по горсти семечек... Пошехонцы налево, супер-пошехонские или просто вятские – направо.

ПАН СПОРТСМЕН. Что делать будем?

САНИТАР. Выяснять, кто из вас дурее, кто пошехонистее.

ЗУЕВ. *(Выходит на середину, напротив него выходит Голев.)* Ну че, вятские, звоните лаптем в рогожный колокол.

ГОЛЕВ. Для кого звонить? Для вас? Да вы родимые пятна с мылом отмываете.

ЗУЕВ. А вы не отмываете и на мыло даже не зарабатываете, лодыри! А мы

и в Москве бывали, а вы Москву только со своей сосны выглядываете.

ГОЛЕВ. Мы на сосну не для выглядывания лазим, а чтоб вас повыше быть.

ЗУЕВ. А вы толоком воду в проруби замесили, лаптем мешали.

ГОЛЕВ. Зато толокно едим, а вы с жадности теленка с подковой съели.

ЗУЕВ. А вы корову на баню затаскивали траву объедать.

ГОЛЕВ. Сильные, значит. А вы впятером блоху не задавите, такие смелые.

ЗУЕВ. А вы такие хватские, что на полу сидите и не падаете, на возу стоите и вас одного всемером не завалишь, а пьете! Специально зарплату за полгода копите, чтоб за день пропить.

ГОЛЕВ. И где вас, таких умных, делают, мы еще десяток закажем.

ЗУЕВ. А вас и заказывать не надо, вас из одного яйца можно десяток высидеть.

ГОЛЕВ. Где ты яйцо с цистерну видал?

ЗУЕВ. В виртуальной реальности. В общедоступной интернетской. А спал у интернетиста в интернате. Проснулся – вы уже вылупились. Вишь какие, яйцеголовые.

Халявин играет на балалайке  
«Ой, полным-полна норбушна».

ХАЛЯВИН. А кому тут не нравится русская народная музыка?

БАТЮНИН. Живете вы, вятские, вроде в русском месте. Хотя и мелкая, а река, хоть и редкий, а лес, вроде лица русские, а глядишь на вывески – все какое-то псевдонимное, вроде как прячетесь. Скрываетесь под именем пламенного большевика, в Вятке не бывавшего, слова доброго о ней не сказавшего, чекистов за злодеяния воспевавшего, зад вождя лизавшего... Почему такая неустройка?

АГРОНОМ. Кабы от вашей топонимии хлеб подешевел хоть бы на копейку, мы бы подумали.

БАТЮНИН. Так Вятка же, Вятка, слово ласковое, самое русское, на язык просится. Как же можно, прости Господи, жить в имени кого-то, в какой

части. Живу в Кирове. Где – в желудке, а? А? Уж хоть бы Костриков, а то партийная кличка, вроде пахан какой.

АГРОНОМ. С трибуны не слезал, трибуном прозвали. Тоже кличка. Трибун.

БАТЮНИН. Трибунов этих уж скоро и знать не будут.

АГРОНОМ. Нет, не скоро. У нас и поляки были, и латыши, и евреи были, все нас умному учили, сами темные, дак.

БАТЮНИН. А я думаю, они умнеть сюда приезжали.

АГРОНОМ. Ссылали их.

БАТЮНИН. Ну да. Чтоб поуменьли.

ГОЛЕВ. Чтим память ихнюю, про всех сосланных по сколь книг написали, сколь лесу на бумагу извели, очень мы чужих уважаем, очень.

ХАЛЯВИН. Ежели же кто из своих, вятских, высунется, мы его быстро за штаны стянем – не смей, не по разуму берешь, сиди тихо. А серию пламенных революционеров мы не забудем ни в жись.

АГРОНОМ. Как их, родимых, забыть – они для нашего счастья крови нашей не жалели, они свои америки ради нашего вразумления бросили, мы-то вятские, беспутые были, всю Европу хлебом заваливали да зарплату золотом выдавали, а комиссарики явились – штаны с заплатами кожаными, да наганчик на боку, как таких не любить, как таких, в пыльных шлемах, не воспевать, как ихними кличками улицы не обзывать. Это же радость круглосуточная – жить на улице имени палача русского народа. А скороговорка про Клара и Карла пошла от нас, у нас же и Клара, и Карл, и Роза из Люксембурга и Володя Дарский, свои Воровские, большевистские, блюхерские, только пошехонских нет. У всех родина как родина, а у вятских родина – революция, ей, единственной, мы верны. У нас и Ленин молодой-молодой, и юный октябрь впереди.

Пошехонские встают дружно, машут руной, говорят: «А-а-а». Уходят.



**ХАЛЯВИН.** Меж своих можно и тайну сказать: мы, вятские, всю жизнь на сухом берегу, немазано-сухие живем. Нас коммунисты и их продолжатели демократы за подопытных держат. Чтоб на обезьян не тратиться. Полигон для испытаний. Захоронение радиации – к нам. Талоны у нас внедряли у первых. Очереди наши было из космоса видно. Народ мы безгласный.

**ГОЛЕВ.** Безгласный, но смекалистый. Мы на всякие ихние хитрости очень большие глупости придумываем. Взять нас за грош невозможно. И такие мы и сякие, а глядь: все притомились, руками махать на митингах устали, а мы пашем. Вот и жены наши, вятские. У кого жены – женщины, а то и вовсе бабы, а наши – сударыни в лаптях. Мы б от них не отходили, посадили бы на лавочку, как на картинку любовались бы, да все некогда: то пьянка, то партсобрание.

**АГРОНОМ.** А то и враз. Перед нами скоро все сдадутся, поймут наше преимущество, к нам запросятся. Мы, конечно, простяшки, пустим, а они с порога нам на загривок, сядут и ножки свесят. Сто раз так бывало. Мы только своих за людей не считаем, а варягам почет и место.

**ХАЛЯВИН.** С вятскими не шути. Мы всех перемудрим.

**ГОЛЕВ.** А себя в первую очередь.

Уходят. Идут Сеня и Витя.

**ВИТЯ.** Хорошо, хорошо же было. Я сочинил от восторга души восторженный душевный стих: «Эх, режь мою плешь на четыре части – хорошо-то как жить при советской власти!» И меня замели. И – сюда. Но было же хорошо, не эта же вшивая демократия была. Я и сочинил, что даже плешь от радости не жалко порезать сапожным ножом, а меня за шкирман. И – сюда. Получается, что нельзя сказать, что хорошо жил при советской власти. За антисоветчину прижучили. Получается, власть не верила, что ее не за деньги воспевают. А еще

настучали про моего космополита безродного?

**СЕНЯ.** Кого?

**ВИТЯ.** Я так попугая звал. Он залетел случайно и жил. Эмоций – ноль. Только жрать. Любил лишь себя. Все время: «Кеша хороший! Какой Кеша мужчина! Кеша не курит – курить вредно!» Кричал и опасное: «Гвардия, не подведи! Ура императорскому величеству! Оркестр, не зевай!» Он так звонки передразнивал – и телефона и дверной, – никакого отличия. Дождется, сволочь, пока мы уснем и: тр-р-р-р. Мы к дверям. Сердце бьется, штаны натягиваешь – телеграмма, кто-то умер. Только заснешь снова: дзинь-дзинь-дзинь! К телефону. Ужас. Руки трясутся. Хотел убить попугая или себя на крайний случай...

**СЕНЯ.** И что? Оба живы?

**ВИТЯ.** Перестройка спасла. Он же телевизор слушал, тоже передразнивал. Тут пошли новые слова: консенсус, рейтинг, имидж, шоу, маркетинг, дилер, киллер, плюрализм, мондиализм, сионизм, эксклюзив... Попугай рехнулся. И из окна специально выпал. И не чирикнул. Только и возопил: «Оркестр, не зевай!»

**СЕНЯ.** А молодцы мы, Витя, что именно здесь устроились. Хотя и тревожно жить не за забором, зато посмотри – сколько пейзажу.

**ВИТЯ.** Да уж, чего-чего, а пейзажа здесь до хрена. Комары, гады, велики ли, а и те понимают, что здесь мазево.

**ТУРУСИН** (*подходя и декламируя «из себя»*). Торговля есть война, товар не есть валюта. Терпи, моя страна, а то пойдет Малюта. «Шехерезада» – вредное сочинение, очень чувственное. Мусульманство, закрепив женщину, запретив пить, не искоренило другие пороки. Но союз с мусульманством, буддизмом необходим. У нас общие враги – масоны и наглые женщины. Выгнать масонов к их бесовой матери.

**СЕНЯ.** Как?

**ВИТЯ.** Сами они не поедут, они же паразиты, живут в грязи. Развели в России грязь и живут.

ТУРУСИН. Но они-то живут, а нам от них житья нет. Так что пусть бы жили, лишь бы не действовали. Зачем они действуют?

СЕНЯ. Чтобы тебе хуже было.

ВИТЯ. Куда еще хуже?

СЕНЯ. Всегда можно куда. Они волки, вы – овцы. Чтобы вы не дремали. Они – люди действия. Люди наживы.

ТУРУСИН. А мы их золотым магнитом вытянем. Пообещаем, что на границе им за отъезд из России золото дадут, настрижем из ихних газет талонов.

СЕНЯ. Не поверят. Это не мои медальки-ежики, не галушки в сметане.

ВИТЯ. Пора масонам, в ихню мать, Россию задом понимать. Лопатой навозной по заднице на прощание.

СЕНЯ. Это уже такие высоты идиотизма, что я восхищаюсь. Кто тебе зад подставит? Где аплодисменты, как любит говорить Боря.

Гром и грохот настрюль.

СЕНЯ. Зовут телевизор смотреть.

ТУРУСИН. Не пойду. Бездумное балаболство постулатного пространства правящих партий. Белодомский балаган безумствует бешеной беллетристической банковских бумаг. Как жить, когда кругом коммуничают, социликают и демокакают. Сплошная стена комдемонобанд и комбандократов. Они уже капиталикают и все разбазякивают. Не смотрите телевизор. Не смотрите, заклинаю. Не смотрите, и увидите, как сами собой отомрут бесы демо-пропаганды и демоноагитации. Пусть они, не умея произносить все звуки русского языка, шлепают и шлепают губами, а нет им внимания. Вымрут за месяц. Женщины, внимание! Женщины, не смотрящие телевизор, хорошеют. Мужчины, внимание! Мужчины, не смотрящие телевизор, умнеют. Что смотреть? Закаты и рассветы. Что читать? Классику. Чем заниматься? Играть с детьми, любоваться женой, ходить с ней в магазин, развешивать выстиранное белье. По праздникам в церковь. Готовить себя к будущей

жизни, понимая, что земная жизнь – экзамен для поступления в жизнь будущую. Переэкзаменовки не будет, на второй срок не оставят.

Грохот настрюли.

САНИТАР. Всем молчать. Сесть рядами. Уши не затыкать.

Душевнобольные рассаживаются у рамки, сделанной под вид телеэкрана. Наждый из смотрящих входит в экран для начала и продолжения передачи.

ДОНТОР *(в экране телевизора)*. Господа детишки, тут кто-то задал интересный вопрос: по какому праву я говорю от имени всего народа? А по такому, что я – русский, вот и все тут мои полномочия. Забавное дело – кто только не кусает русских, а жить без них не могут. Тут уж все как на пень наехали. Вам, детишки, что ни скажи, ничему не верите. Не верите, что демократию сделали плутократы для управления дураками, не верите? Именно так. Создали с помощью науки, была официальная наука, демагогия. Кто у нас демагогию преподает?

ВСЕ. В отпуске.

ДОНТОР. Неважно. Запишите: демократию создали плутократы с помощью демагогов для управления демосом-народом для внушения ему мысли, что он управляет своей судьбой.

На полуслове его обрывает реклама, которую выберет режиссер и исполнят антеры, играющие душевнобольных.

ДОНТОР. Народ поверил, от этого-то демократы числят его быдлом. Все равно не верите? Простой пример: была Россия, стала СССРом. Размеры поменьше, но жить можно. Жили. Демократы видят, что СССР настолько могуч, что и считаться с собой заставляет, ботинком по трибуне стучит, надо что-то делать.

Входят Витя и Сеня.

ВИТЯ. Братва, давайте переключим, там футбол. Кубок УЕФА и ФИФА.

ГОЛЕВ. УЕФА и ФИФА – это как Ромео и Джульетта, что ли?

СЕНЯ. Да бросьте вы со своим футболом, по второй сто шестьдесят шестая серия чужеродного фильма. У нас полбанки осталось.

ВСЕ. *(Замахали руками, закричали.)* Досмотрим, потом переключим.

Начинается небольшой конфликт между телезрителями.

ДОНТОР. *(Продолжает.)* Дали задание демагогам – те вприскачку заплясали, сдělали, трех лет не прошло, задание выполнили, обгадили всю историю, дуракам внушили, что партия – бяка, армия – дедовщина, а Куликовской битвы не было. Дураки верят. Дуракам говорят, что демократия – власть народа. Дураки верят. Однако дураки-то дураки, а понимают, что жить в державе безопаснее и жи́точней, сытнее. Голодный за единое пространство, за сохранение СССР. Проголосовали и рады.

ПАН СПОРТСМЕН. И кто послушал сей глас народа? Где тот глас и где тот СССР?

ГОЛЕВ. Кому скажешь, кто поймет?

ЗУЕВ. В суд подать.

АГРОНОМ. В какой? Им плевать на законы, у них судьи знакомы.

ХАЛЯВИН. В ООН жаловаться.

БАТЮНИН. Там и подавно они, там русским ходу нет.

ИНОСТРАНЕЦ. Сдвинулся мир, но куда конкретно, в какую сторону? Вправо, влево?

СЕНЯ. И туда, и сюда враз, оттого тошнит. И как иначе: тот тянет влево, рвет глотку и свою и чужую, тот вправо, кулачком у микрофона трясет – народ смотрит на них, вертит головой справа налево и слева направо – голова кружится.

ВИТЯ. Народ превращается в биомассу, которая хочет только футбол смотреть, сплетни обсуждать, да брюхо набивать.

БАТЮНИН *(назидательно)*. Именно такая масса желательна для правительства.

Из телевизора вылезает прямо к телезрителям женщина.

ГОЛЕВ. О-о ! Дикторша в натуре.

ЗУЕВ. Вот те и экстрасенс.

ЖЕНЩИНА. Я решила жить у вас, потому что у меня от этого телевизора всюду аппендицит, особенно в голове. А у вас еще все-таки можно жить, только вы меня поймете и оцените. Мне надоело быть оплеванной. Только у вас я достигну главного идеала в жизни: жить хорошо при любых начальниках. Позвольте мне жить пока с вами.

ВИТЯ. Тут у нас, девушка, люди умные. Тут, красавица, надо соответствовать. Тут нет тебе бегущей строки.

ПАН СПОРТСМЕН. Как это «жить с вами»? Только, чур, не со мной, я кое-что открыл.

ЗУЕВ. В изолятор ее – проверить на вшивость.

АГРОНОМ. Я считаю, ее работать не заставлять.

СЕНЯ. Но наказать. Поскольку она диктор на телевидении, то пусть круглосуточно смотрит свои передачи.

ВИТЯ. Это ей не наказание. Это ей лечение. Ибо народная мудрость гласит: чем заболел, тем и лечись. Когда же излечится, тогда посмотрим, что дальше.

АГРОНОМ. Второе наказание: показывать каждый день многосерийный фильм «Билл, Коль, Боб, Майкл, Ангеле, Буш и ихние матери».

ГОЛЕВ. Необходимо закрыть женский вопрос.

ПАН СПОРТСМЕН. Ужасное, ужасное, ужасное открытие подстерегало меня.

ХАЛЯВИН. Одна баба ставила свечку Георгию Победоносцу, а змею показывала кукиш. Змей является ей во сне и говорит: ты что, думаешь, к Георгию попадешь? Ты ко мне попадешь, а уж я тебе эти кукиши припомню. С тех пор бедная баба стала ставить две свечки: и Георгию, и змею.

ПАН СПОРТСМЕН. Безотраднa женская судьба. Сватают женщину и говорят: топора и пилы нам не надо, дров и о тебя

наломаем. И воды нам не надо: твоих слез хватит. За что любить мужчин, деспотов и эгоистов?

ЗУЕВ. Не все же, заявляю от имени всех, не все же.

ПАН СПОРТСМЕН. Но многие.

АГРОНОМ. Больно уж эти женщины сверхлюбопытные. Один мужик нашел горшок с золотом, понимает, что жена выдаст, говорит: я кузнеца убил и под дубом закопал, а золото взял. Она и проболталась. Его хватают, под дубом копают. Там спичечный коробок с кузнечиком. На которого рыбу ловят.

ХАЛЯВИН. Мы в детстве кузнечика на нитку привязывали.

ПАН СПОРТСМЕН. Садисты.

БАТЮНИН. Господа глобалисты, пора решать глобальные проблемы. Разбирайте лозунги, портреты. *(Разбирают.)* Белой расе приходит конец. От чего? Марксизм выдохся, коммунизм спекся, закат Европы заканчивается.

ХАЛЯВИН. Закат солнца... вручную!

СЕНЯ. А помните, был у нас Леня, не мог выговорить слов «планы по реализации», говорил «планы парализации», послушаться не посмели, вот все и парализовали. Демократы – исполнители воли коммунистов.

ПАН СПОРТСМЕН. С какой скоростью, это вопрос вопросов, изменяются физические законы?

ВСЕ. Да ведь решили уже.

ЗУЕВ. Как только это кто-то спросил, так сразу и решили.

ИНОСТРАНЕЦ. Мысль! Мысль имеет температуру и скорость. Мне говорят: излагайте медленнее, я теряюсь, сбиваю ход мысли, а главное, нагрел мысли.

ГОЛЕВ. Пример?

ИНОСТРАНЕЦ. Русские потеряли все, кроме земли, языка и чести. Землю отнимают, язык специально засоряется.

ПАН СПОРТСМЕН. Ясно и без температуры и скорости. Что у нас далее?

ВИТЯ. Грех неизбежен, но полезен при осознании греха.

БАТЮНИН. Было.

ВИТЯ. Тогда о двух подходах к решению отношений. Первый: какой же он дурак, и второй: какой же я дурак. Было?

ЗУЕВ. Кстати, о дураках.

ВИТЯ. Кстати, о птичках. Вот я тяжело соображаю, но как птичка пролетит, мысли вспархивают.

ЗУЕВ. Не комикуй.

ВИТЯ. Я не комик, я комикадзе.

БАТЮНИН. Решение всех проблем в проверке себя по отношению к другим. Виноват во всем я – одно. Виноваты во всем они – другое.

Халявин играет и поет.

ХАЛЯВИН. Что такое СНГ? Синагога? Сенегальцев в СНГ очень много. На одной пустой брехне, на реформах и цинге, будем жить в эсээнге ради Бога.

ПАН СПОРТСМЕН. А падеспань можешь?

ХАЛЯВИН. Согласно пожеланиям трудящихся, идя им навстречу, могу все, даже и сверх того. *(Играет.)* Падеспань! По аллеям петровского парка с пионером гуляла вдова. Пионера вдове стало жалко, и вдова тра-та-та, тра-та-та.

ЖЕНЩИНА. Тут у вас как на демонстрации. Портреты. Еще бы цветы и шарик.

ВИТЯ. Да мы и без шариков все клиенты.

АГРОНОМ *(танцует с Сеней)*. Или нет?

СЕНЯ. Нет, есть.

АГРОНОМ. Да, есть. Но что?

СЕНЯ. Нет, да.

АГРОНОМ *(на трибуне)*. Разве слово не дело? Почему же свобода безгранична, как о том голосят демократы. Слово, кричат они, не поджог, не пощечина, не выселение. Смешно? Или нет?

СЕНЯ. Нет, да.

АГРОНОМ. Да, есть.

СЕНЯ. Или нет?

АГРОНОМ. Значит, слово не действие, а ну-ка, дефективный, подходи, я тебя так по матушке шарахну и по батюшке пошлю. И жаловаться некуда: свобода слова.

БАТЮНИН. Я – за нравственную цензуру. Разврат, насилие, пошлость хлещет на нас с сильно голубого экрана – у развратников и словоблудов надо отнимать средства массовой информации, даже стенгазеты. Или нет?

СЕНЯ. Нет, есть.

АГРОНОМ. Нет, да.

СЕНЯ. Да, есть. Или нет?

БАТЮНИН. Если телевизионщикам не терпится показать разврат, значит, они сами такие. Так ведь.

СЕНЯ. Да, так. Или нет?

ВСЕ. Нет, есть.

ПАН СПОРТСМЕН. Ужасное, ужасное открытие подстерегало меня.

ВСЕ. Мы тебя сейчас как пошлем...

Визг женщины глушит окончание фразы.

СЕНЯ. Кстати, о женщинах...

ЗУЕВ. Вот это не надо. Лучше о детях. Ну, вот решим мы все вопросы, все проблемы, а что останется детям?

ГОЛЕВ. В нашей стране мы, как никто, заботимся о детях.

ХАЛЯВИН. Где у нас лозунг: «Все лучшее – детям»?

ВИТЯ. Все лучшее – моим детям.

ХАЛЯВИН. Ты, Витя, неправ дважды. Во-первых, нет таких проблем, которые не решил бы наш коллектив.

АГРОНОМ. Ты что, забыл наш девиз: как только ставится вопрос, так сразу он решается. Сразу! И никому не оставляем даже щели, чтоб не пролезли в щель домыслы.

ХАЛЯВИН. Вторая: ленивы и нелюбопытны не мы, а как раз дети. Это, наверное, у тебя детей нет, так ты и не знаешь, тогда и не суйся и не сплясывай, раз не спрашивают.

ВИТЯ. Для медленно соображающих пример к тезису: мы все покупаем сами, но покупаем то, что предлагают. Думайте. Или мы все покупаем книги...

ПАН СПОРТСМЕН. Я все для нее покупал, ничего не жалел. Но ужасное мое открытие в том, пора сказать, что она оказалась такой же, как все.

ВИТЯ. Всего-то? Чего ж тут ужасного, радуйся. Так вот. Покупают книги, но не читает никто. Ставят на полку. Думают – для детей. Вот дети вырастут, станут читать, станут умными, пойдут дальше меня, станут лучше меня. Вырастают дети, покупают по примеру родителей книги, тоже не читают, тоже думают:

вот мои дети этим богатством воспользуются, станут сильно умными, полезными и так далее. Книги как разум и мудрость столетий не участвуют в жизни. Это доказывается тем, что люди непрерывно совершают одни и те же глупости, рецепт избавления от которых давно изложен в книгах. Люди не умеют, они не читают. Или читают то, что подсовывают. Наши неандертальские власти в интервью прямо-таки заявляют, что читать им некогда, то есть вслух кричат о своем невежестве. Им же надо заседать, врать, изворачиваться, бывать, мелькать, присутствовать, выезжать, звонить... Но тогда, господа недотыкомки, чего ждать от этой власти, если она даже не знает, что такое демократия, и даже уверена, что это хорошо. Это власть кукольная, на ниточках, паяцы...

ПАН СПОРТСМЕН. Но ведь это было страшно то, что я узнал. Вдумайтесь: как все!

На него зашнали. Раздается мелодия скрипки. Женщина сидит с цветами.

ЖЕНЩИНА. Отпустите меня, я буду сажать цветы. Очень ошибаются те, кто перестает поливать цветы после того, как они отцветут. Именно тогда идет созревание семян, надо поливать... Какая нынче торопливая погода, как бежит время: уже в конце июля цвели осенние цветы, астры вспыхнули и погасли так быстро, что не хочется смотреть в окно на их сухие, склоненные головки. Снег выпал рано, отяжелил еще оставшиеся соцветия, и они пригнулись к своим могилкам. Дикий виноград вскарабкался по водосточной трубе, прижался к ней, пожелтел и вздрагивает, когда по трубе внутри проносятся кусок льда. Печаль, печаль и радость несут любимые мною цветы. У меня получается их разводить, они меня любят, я их жалею. Вот из этой крошечки-семечки вырастет

астрочка, а какого цвета – это тайна. И, может быть, мне кто-то подарит похожую на нее. Астрочка, если я доживу до твоего цветения в этом холодном времени, ты согреешь меня. Ты дашь мне красоту и спокойствие и силы сказать подругам: давайте превращать пустыри в сады...

БАТЮНИН. Подводим итоги всех пленарных дискуссий. Сидеть! Мы: то есть я и вы, мои братья по разуму, – решили, что у нас дураков нет, дураков не осталось. По крайней мере, в нашем дурдоме. Мы решили: во-первых (*задумался*) вот это, во-вторых и решили: у нас дураков нет. Во-вторых: Россия гибнет по вине дураков, специально превращенных в дураков. В-третьих, мы объявляем правительство ненормальным. Признаки – постоянное вранье на всех уровнях. Ход событий в России стал неестественным, так как демократия губит все естественные ценности жизни: добросовестность, сострадание, порядочность. Они вытесняются пропагандой насилия, деячества, спекуляции под видом предпринимательства, вытесняются хамством. Показ убийств, разврата, пошлости приводит к потере человеческого облика. Все это пришло в Россию вместе с демократией. Болтовня о полных прилавках – бред собачий. Они полны, но чем? Химическими продуктами, которые большинству недоступны.

ИНОСТРАНЕЦ. Дошли, дошли мои слова. Точно так – признак упадка общества – замена музыки шумом и грохотом, объявление целомудрия отсталостью.

БАТЮНИН. Братья, могут начаться гонения. Олигархи вцепились в жирный кусок и оторвутся от него, только нажравшись. А нажраться они не в состоянии. Навербуют опричников нового времени, проверка стравливания русских на русских опробована. Кого-то убьют, кого-то посадят, кого-то загонят в психушку.

СЕНЯ. У нас и властям места хватит.

Выходят Зуев и Голев. У одного портрет Сталина, у другого Ленина. Стараются поднять «своего» повыше.

ПАН СПОРТСМЕН. Прогресса нет, но есть спасение.

ЗУЕВ. Да, спасение есть. Или нет?

ГОЛЕВ. Или спасения нет. Или да?

БАТЮНИН. Главный из главных тезис: все беды человека от того, что он недоволен жизнью.

ИНОСТРАНЕЦ. Как это точно! Только русские в состоянии четко формулировать.

ЗУЕВ. Душу Богу, жизнь – Отечеству, сердце – жене, честь никому. (*Размахивает портретом Ленина.*)

ГОЛЕВ. Чего ты лысым-то машешь? Честь, честь родине, запомнил? И своему лысому передай. (*Машет портретом Сталина.*)

ЗУЕВ. Ленин прав. Кто за него – направо. Кто за Сталина – налево.

ГОЛЕВ. Твой лысый по Европе на велосипеде катался, Жа-нева! России совсем не знал, для него Парижская коммуна предел мечтаний, Робеспьером грезил, Дантонов плодил.

ЗУЕВ. А твой чучек командование Красной армии вырезал.

ГОЛЕВ. Это ложь, вранье, подтасовка и провокации. Он по пять лет в Париже не ошивался, в расстреле царя не замаран, моськи его боялись, священников он привечал, отец ты наш родимый, болезный ты наш!

ТУРУСИН. Тот отец в конце концов нас всех оставил без отцов.

ЗУЕВ. Не трожь Ленина!

ГОЛЕВ. Моего земля приняла, пожалела, а твоя мумия тутанхамонская средства на содержание оттягивает.

ТУРУСИН. Ульянова отпеть, а Ленина предать анафеме.

САНИТАР (*появляясь с дубиной*). А кто тут против реформ? (*Начинает бить направо и налево.*) Больные падают, падают друг на друга и портреты. Санитар сгребает все таблетки, выпивает и тоже рушится.

Идет вдоль больных Доктор.



ДОНТОР. Скоро будет реабилитация всем моим  
больным, всем моим пациентам. Ввер-  
ху сообразили, что мы их умнее и не  
хотят нас кормить. Как же мне сохра-  
нить моих пациентов, как сохранить  
в этом сумасшедшем, с ума сшедшем  
мире? В мире, где людям врут круг-  
лые сутки? Как выжить моим милым,  
все понимающим больным душой?  
Спите, милые (*присматривается*),  
Господи, да вы живы ли?

БАТЮНИН. Еле-еле душа в теле.

ДОНТОР (*закрывает решетчатые двери*).  
А я людей жалею. Ведь все же умрут.  
Боже милостивый, нет у нас надежды  
ни на кого, только на Тебя. Сами мы  
бессильны, власти о нас не думают...  
Заблудились мы и опаршивели, оско-  
тинились и изгадились в скверне  
грехов...

Больные в белых балахонах выходят  
перед решетной.

ДОНТОР. И нет у нас больше никаких молений  
ко Господу, только одно: дай нам,  
Господи, смерть христианскую, непо-  
стыдную и доброго ответа на Твоем  
Страшном суде... Голова болит.

БОЛЬНЫЕ. И у меня болит. И у меня.

ДОНТОР. И сердце болит.

БОЛЬНЫЕ. И у меня болит, и у меня.

ДОНТОР. И душа болит.

БОЛЬНЫЕ. И у меня болит. И у меня.

Решетки вздымаются. Все выходят  
к рампе.

ВСЕ (*хором*). Да и как же им не болеть?  
Ведь все же в России пока ненор-  
мально.

1998-2017





# НАША ПОБЕДА

# «КОБРА» АТАКУЕТ С ТЫЛА

ПОЛЮС ХОЛОДА И ПОДВИГА: ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ  
НЕБЕСНОЙ ТРАССЫ, СВЯЗАВШЕЙ В 1942 ГОДУ АЛЯСКУ И СИБИРЬ



ВАСИЛИЙ АВЧЕННО

Журналист, прозаик. Родился в 1980 году в Ирнютской области, вырос и живет во Владивостоке. Окончил журфак ДВГУ. Автор документального романа «Правый руль» (2009, переведен на японский), беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока» (2012), фантастической киноповести

«Владивосток-3000» (2011, в соавторстве с музыкантом Ильей Лагутенко), книги «Нристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» (2015), биографии «Фадеев» в серии «Жизнь замечательных людей» (2017), романа «Штормовое предупреждение» (2019, в соавторстве с Андреем Рубановым), «Олег Нуваев. Повесть

о нерегламентированном человеке» (2019, в соавторстве с Алексеем Норовашно). Лауреат Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.Н. Арсеньева. Книжки попадали в короткие списки премий «Национальный бестселлер», «НОС», Бунинской премии, в длинные списки «Большой книги» и «Ясной Поляны».

Нолымский поселок Сеймчан, пять сотен верст от Магадана. С этих мест, с речки Среднекан, начиналась в 1929 году Золотая Нолыма, открытая геологом Билибиным.

Самому поселку больше трех веков. Имя его возводят к якутскому «хэйимчэн» — полынья.

Человек предполагает — история с географией располагают. Дежнев, Хабаров, Москвитин, Атласов не могли знать, что в тех неимоверно, космически далеких землях, которые они открывали, присоединяли и осваивали, найдут золото, олово, уран; что Чунотка и Нолыма станут трассой для перегона американских самолетов, а драгметалл — платой за помощь союзников. Первопроходцев XVII века больше интересовал соболь — углеводороды своего времени; такой же экспортный валютноемкий ресурс, как золото.

В 1942–1945 годах Сеймчан был одним из узлов Алсиба — особой воздушной трассы Аляска — Сибирь. Здесь тоже гремел второй фронт. Прыжки через Берингов пролив, парение над чунотской тундрой и нолымскими хребтами — чем не боевые вылеты? Погибших при перегоне следует числить в ряду потерь великой войны.

Союзническая помощь шла в СССР несколькими путями. Покрышин пригнал свою «аэрокобру» из Ирана, через Навказ; работали порты Мурманска и Архангельска... но все-таки

возникла необходимость в новом маршруте, не достигаемом для вражеских подлодок. Лендлизовские самолеты решили перегонять через Чунотку, Нолыму, Якутию — почти 6400 километров тундры, гор, тайги.

Создание трассы поручили Василию Молонову — знаменитому полярному летчику, участнику спасения челюскинцев, обладателю звезды Героя за номером 3.

Нужно было завозить стройматериалы, сооружать взлетные полосы и метеостанции, обеспечивать снабжение, связь, горючее... Территория — золотая во всех смыслах: любое строительство в суровом климате и без дорог неимоверно сложно и дорого. По мирным меркам — задача на 4–5 лет. Однако такой роскоши, как время, не было, и воздушный мост навели за 10 месяцев — местные и приезжие, вольные и невольные.

Н осени 1942 года в строю находилось пять основных (Нрасноярск, Ниренск, Якутск, Сеймчан, Уэльналь) и пять дополнительных (Алдан, Оленминск, Оймякон, Сусуман, Марново) аэродромов. Строительство новых площадок велось и после: Нижнеилимск, Витим, Хандыга, Омолон, Анадырь, Гижига... В строительстве одной из них летом 1944 года принял участие 14-летний Рытхэу — будущий писатель.



↑ На воздушных перекрестках Алсиба. «Нингнобра» над Намчатной

Север покрылся сетью аэродромов. Война дала импульс для развития далекой периферии, как это уже бывало с Крымской, Русско-японской, Первой мировой...

Алсиб заработал осенью 1942 года, когда Илья Мазурун — «небесный наюр», звезда уровня Чкалова, Громова и Водопьянова, который торил дальневосточные и арктические воздушные пути, а в 1937 году стал депутатом Верховного Совета и 39-м Героем, — повел первые 12 бомбардировщиков из Фэрбанкса (Аляска) в чукотский Уэльналь. «Нончил школу — лети на Дальний Восток. Это настоящий университет», — говорил Мазурун молодым пилотам. Теперь Дальний Восток снова позвал его самого: именно Мазуруна назначили командиром перегоночной авиадивизии и начальником трассы.

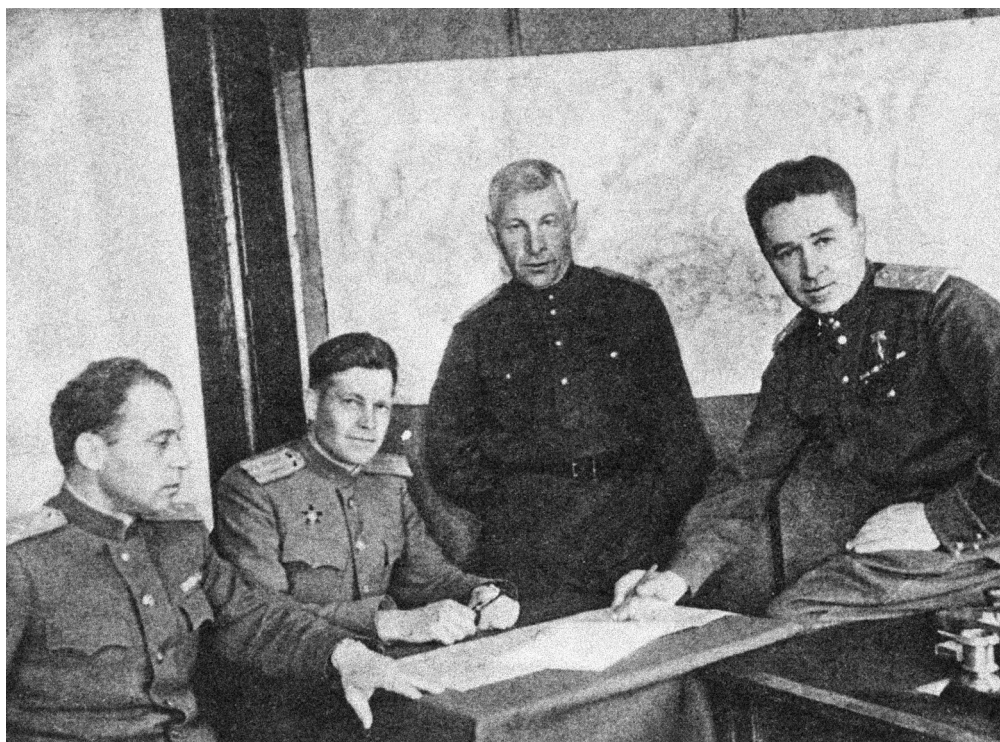
Александр Рогожкин снял об Алсибе отличный фильм «Перегон» — метафоричный, с детективным сюжетом и вторым дном. Рассматривать его как документ, разумеется, нельзя: для коллизии Рогожкин пустил американцев на Чукотку, хотя в действительности приемка-передача техники проходила в Фэрбанксе.

В США самолет от начального до конечного пункта вел один пилот. Мазурун выбрал иную

схему: каждый летчик перегонял машины только по своему отрезку. В дивизию вошли пять перегоночных полков — по числу отрезков — и один транспортный. Первый полк гнал самолеты из Фэрбанкса в Уэльналь, второй — из Уэльналя в Сеймчан, далее дорога лежала в Якутск, Ниренск (бывший острог XVII века) и Красноярск.

Самым сложным считался 1200-километровый участок от Сеймчана до Якутска. Трасса шла над горно-таежной пустыней, хребтами Черного и Верхоянским, полюсом холода — Оймяконом. Морозы зашкаливали за минус 60, большая часть самолетов не отапливалась.

Бомбардировщики летели по одному или звеньями. Истребители, чтобы не потеряться, — «журавлиным клином» за лидером-бомбардировщиком, в котором были штурман и радист. Точных карт не было, магнитные компасы работали ненадежно, инструкции были на английском, бортовые приборы показывали мили и футы. «Нобры», у которых мотор располагался позади пилотской кабины, а третье колесо — спереди, требовали особой техники взлета-посадки и не прощали ошибок. Сесть «на вынужденную» зачастую было просто негде, выброситься с парашютом означало оказаться



† Полковник И. Прянишников, подполковник А. Пушкарский, подполковник А. Мельников, полковник И. Мазурук в штабе дивизии

одному на сотни километров вокруг. Случались истории в духе Джена Лондона — морозились, ползли, гибли, выживали... Летчин Демьяненко на Аляске около месяца бродил по горной пустыне. Летчин Дьянов, сумев приземлиться на неисправном самолете у Верхоянского хребта, ждал спасения больше месяца.

Мазурук вспоминал колымские зимы: «Машины на аэродромах покрывались ледяной коркой, масло в баках и моторах, а танже смазка... становились твердыми, как камень, резина — хрупкой... Инженеры и техники... обмерзая сами, умудрялись примитивными средствами ремонтировать, разогревать и отправлять в полет «ледяные американки»... Вначале американцы поставляли нам самолеты с обычной... резиной, она не выдерживала наших сибирских морозов, лопались шланги, уплотнения, шины колес... Пришлось Наркомату внешней торговли направить в США специалиста с рецептурой нашей морозостойкой резины».

На американском участке перегона — от Монтаны до Аляски — за три алсибовских года разбилось 133 самолета. На советском был потерян 81 самолет. Для сравнения: только при

гибели союзнического конвоя PQ-17 на дно Баренцева моря пошли 210 самолетов.

Это — железо; что до людей — Алсиб отнял жизнь у 114 советских авиаторов. Потери начались буквально с первого вылета: 14 октября 1942 года разбился бомбардировщик, четыре днями позже пропал без вести истребитель...

Такой здесь был тыл.

Погибших хоронили на месте катастрофы или у ближайшего аэродрома. Там и тут на Чунотке, на Нолыме, в Янугии — памятники, могилы, пропеллеры...

Всего через Алсиб в Советский Союз доставили около 8000 самолетов (через Иран — порядка 5600, через северные порты — 4800). Больше всего — истребителей P-39 «аэрокобра» и истребителей-бомбардировщиков P-63 «нингкобра». Колымское небо видело бомбардировщики B-25 «митчелл» и A-20 «бостон», истребители P-40 «киттихаун», транспортные «дугласы» C-47... По Алсибу везли слюду (из нее делали прокладки для моторов), продукты, медикаменты.

Трасса продолжила работать после разгрома Германии: СССР по соглашению с союзниками вступил в войну против Японии.





† Группа Р-63 с лидером-бомбардировщиком В-25 над Верхоянским хребтом

Последняя потеря Алсиба датируется 23 августа 1945 года, когда у маньчжурского Гирина (Цзилинь) разбился один из «дугласов».

Перегоночную дивизию расформировали, но многие летчики остались на Севере. Построенная сеть аэродромов, узлов связи, других объектов ускорила освоение Нолымы и Чунотки, позволив наладить регулярное авиасообщение с десятками точек. Трасса жила, выполняя уже не военные, а хозяйственные задачи. Сначала Территория позволила стране наладить воздушный мост и победить врага; потом трасса вернула Территории долг, вдохнув в нее новую жизнь.

Скажу страшноватое: Россия жива войнами и кризисами. Беды и угрозы побуждают строить то, до чего в мирное время не доходят руки. Режим ЧС выступает условием развития. Хорошо это или плохо — вопрос другой.

...Брожу по Сеймчану образца 2020 года. На улице Мазуруна фотографирую на память старый аэропорт — красивый бревенчатый теремок. Рядом — обелиск и могилы пилотов, погибших при перегоне.

Март, снег, мороз... Редкие прохожие, японские праворульные. Зияющие окна пустых пяти-

этажек, руины накого-то предприятия, ярная детская площадна... Девушна толкает перед собой коляску — без колес, с полозьями.

30 лет назад здесь, в Средненанском районе (размером — с три Бельгии), жило 16 тысяч человек. Сегодня — всемеро меньше. Были в Сеймчане кинотеатр, пивзавод... не осталось даже Ленина на площади. Правда что — «попынься»? Зато недавно построили новый храм. Вводится в строй — агрегат за агрегатом — Усть-Средненанская ГЭС, добывается золото, нигде не девшееся с повестки. Работают — кан когда-то Алсиб, в режиме подвига — крестьянско-фермерские хозяйства.

Спрашиваю себя: что может стать новым импульсом для нашего Севера, если не война? Ответа пока не нахожу.



# САМАЯ НЕОЖИДАННАЯ КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ВЛАДИМИР ЛЯЛЕНКОВ. «ОЖИДАНИЕ ЛЕТА» («ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981)



## РОМАН СЕНЧИН

Родился в 1971 году в городе Нызыле Тувинской АССР. Онончил Литературный институт имени А.М. Горького. Проза и пьесы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Аврора», «Урал». Автор двух десятков книг, в том числе «Ничего

страшного», «Московские тени», «Елтышевы», «Зона затопления», «По пути в Лету», «Постоянное напряжение», «Дождь в Париже». Проза переведена на немецкий, английский, французский, финский, китайский и некоторые другие языки. Лауреат премий «Эврика», «Ясная Поляна», «Большая

книга», премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Участник Форумов молодых писателей «Липки» (2001–2006), театрального фестиваля «Любимовна» (1997, 2010). Живет в Екатеринбурге.

Нас, советских детей, книги о Великой Отечественной войне сопровождали с самого раннего возраста. Помню, были такие серии — «Мои первые книжки» и «Читаем сами», и в них «Орлович-Воронович» Михаила Алесеева, «Главное войско» Льва Нассиля, «Землянка» Анатолия Митяева, кажется, предельно сокращенный вариант «Сына полка» Валентина Катаева...

Потом, в школе, обязательным было чтение биографий пионеров-героев, «Четвертой высоты» о Гале Норолевой.

Книг и книжек было много, они были разные, разной степени художественности и достоверности. Многие, как я понял позже, писались людьми, не прошедшими войну, создавались по принципу «чем героичней, тем лучше».

Лет в десять-одиннадцать мне попалась довольно толстая для меня тогдашняя книга под совсем не героичным названием «Ожидание лета». Но на обложке были изображены трое подростков, выглядывающих из оврага, а сразу под ней — они же, но уже с винтовками и немецким автоматом.

Конечно, я стал читать.

Героями оказались мои тогдашние сверстники, может, чуть старше, — ребята лет двенадцати-пятнадцати, которые живут на оккупиро-

ванной территории. В меру сил они борются с гитлеровцами.

Книга в то время поразила меня отсутствием пафоса, свойственного произведениям о Великой Отечественной. Наши — не бесстрашные сорвиголовы, и гитлеровцы — не звери. Но война чувствовалась в каждой строке. Хотя и не та война, о которой я тогда читал у других писателей.

Немного позже произошло знакомство с повестями Василя Быкова, и особенно «Обелиск» произвел на меня огромное впечатление. Впрочем, не ошеломительное — я был подготовлен к этой сложной истории книгой Владимира Ляленкова «Ожидание лета».

Наверное, сегодняшним молодым сложно представить, что к людям, находившимся в оккупации, и в 1980-х отношение было если и не враждебное, то настороженное.

Потрясением для нас, пацанов, стал фильм о детстве Юрия Гагарина — мы долго обсуждали, спорили, правильно ли, что его отправили в космос первым, ведь он вместе с родителями жил при фашистах. Мы считали, что нужно было хватать топоры, вилы и бросаться на врага...

Помню, анкета призывника, которую я заполнял во время перестройки, спустя четыре

Потрясением для нас,  
пацанов, стал фильм  
о детстве Юрия Гагарина —  
мы долго обсуждали,  
спорили, правильно  
ли, что его отправили  
в космос первым, ведь он  
вместе с родителями жил  
при фашистах. Мы считали,  
что нужно было хватать  
топоры, вилы и бросаться  
на врага...

десятилетия после Победы, содержала пункт  
«Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники  
в плену или интернированы в период Отече-  
ственной войны, где, когда, при каких обстоя-  
тельствах освобождены». И я, перед тем как  
ответить, расспрашивал родителей, что там  
с нашими родственниками.

Честно говоря, до сих пор мне сложно пред-  
ставить людей в оккупации. Умом-то я понимаю,  
что они были разные, по-разному себя вели.  
Были и полицаи, которые помогали партизанам,  
были и партизаны, сотрудничавшие с немцами.  
Но поставить себя на место хоть ного-то у меня  
не получается. Становится страшно и мучи-  
тельно...

Позже я узнал, что автор «Ожидания  
лета» Владимир Ляленнов, как и его герои,  
подростком оказался «под немцем», и значит,  
книга во многом автобиографична. Отсюда  
наверняка и ее достоверность, почти докумен-  
тальность.

Больше ничего я у Ляленнова не читал,  
и «Ожиданию лета» не возвращался. Наверное,  
потому, что боюсь разрушить то свое давнее  
впечатление от нее. Впечатление от открытия  
новой грани войны. Не менее тяжелой, чем  
отступления, атаки, сражения.



| Юность № 7  
| Июль 2020

| Тема номера:  
| Воспоминания

# ЗОИЛ

# СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА. ИСТОРИИ ЛЮБВИ



АНДРЕЙ РУДАЛЁВ  
Литературный критик, публицист. Родился в 1975 году в г. Северодвинске Архангельской области. Регулярно печатается в различных изданиях с литературно-критическими материалами. Автор книги «4 выстрела. Писатели нового тысячелетия». Лауреат премии

«Чистая книга» в номинации  
«Литературная критика»  
(2020).

Этот разговор был затеян совершенно случайно. Вернее, чудесным сочетанием трех обстоятельств, да еще и на Пасху.

Пасхальная радость – это, кстати, первое побудительное обстоятельство, устроившее внутреннее торжество от открытия идеи.

Началось все с того, что в соцсети выложил пост и сопроводил его фотографией с надписью «Нет смысла». В записи шла речь о нелюбви ко всяческим литературным хит-парадам, рекомендательным спискам, которые сейчас очень и очень популярны.

Было в той записи что-то провинциально-романтическое, наивное, но не снобизм, нет: «В тоску впадаю от рекомендательных списков литературы. И ничего с этим не поделать.

В состоянии, схожее с паникой, впадаю от вопроса: «Что почитать? Посоветуй». А как это возможно, посоветовать?..

Не подскажете, в кого мне сегодня влюбиться? Составьте список рекомендаций.

Или заскучал от бездуховности и надо бы выбрать себе веру, чтобы всласть серферить по волнам мудрости с замочной скважиной в трансцендентное. Посоветуй...

Как возможно подобное с книгой? Это ведь тоже из разряда влюбиться и уверовать, бонусом узнать что-то о жизни и смерти, сформулировать тот или иной вопрос после.

Как можно советовать такое, кто я такой, чтобы делать это? Книжная сваха, миссионер, ловец рекрутов?

Конечно, часто хочется поделиться прочитанным, но что будет для другого эта твоя радость? Быть может, для него там все будет иначе, другие смыслы и не радость вовсе. Получится, что обманул...»

Ну и на самом деле: «Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь?», и любая твоя рекомендательная реплика из благих соображений может обернуться ложью.



Было в той записи еще что-то об этих самых рекомендательных списках, которые вполне могут вылиться в особый жанр литературной критики. Ну, и эта случайная фотография с надписью: «Нет смысла». Глупость, конечно, несусветная, но в какой-то момент показалась уместной, другой все равно не нашел. Впрочем, удалил ее сразу же после первого комментария. В том комментарии мне и указали, что «лучше бы вместо этого поста в честь праздника дали рекомендации “Современная русская проза. Лучшее”».

Что сказать... радость обретения смысла испытал, когда казалось «смысла нет».

Но опять же не было этой радости без третьего весомого фактора. Именно в тот день открыл сборник рассказов Михаила Тарковского, и музыка его слова, рассказа звучала в голове до головокружения. Искала выход в песню.

Вот и сочетались все факторы в праздник и радость. К тому же эта пасхальная история должна быть непременно историей любви, о ее преображающей силе. В этом ведь и смысла праздника. Тем более что перед тем Воскресением вспомнился преподобный Симеон Новый Богослов – один из любимых. Его слова о сопричастности человека Воскресению, которое касается каждого, кто готов Его принять, кто верует, а вера животворит, воскрешает и преображает. Именно в этом и смысл Воскресения – в соработничестве человека и Бога, Который воскрешает в человеке, преображая его. Через веру человек получает способность «видеть самого Христа, воскресшего в нем и его воскресившего». Так в каждом человеке может возгореться свет благодати. Таков триумф человека. Эта возможность обретения чуда и преображения изначально являлась одним из главных побудительных мотивов отечественной книжности. Тот же Пушкин не случайно воспринимается за «солнце», у него как раз об этом.

Книга преображает и несет свет. Про эти запечатленные сияния и захотелось рассказать. Про личные опыты любви.

### Третий Тарковский

Совершенно невозможная, невероятная проза. Наверное, это как в Енисее искупаться. Да и очищает, будто русская баня на его берегу. Чистота и вечное движение. Как бы после этого все прочее не стало восприниматься каким-то мелким и суетным (я о прозе)...

Хотя почему невозможная? У него в лесной избе на полке рядом с лекарствами и «пульками» томик Пушкина лежит без корешка. Все остальные книги тонут в сундуке на порогах, а тут прямое горячее рукопожатие Александра Сергеевича, передающее способность видения чуда и обычными глазами, и «умным зрением». Всегда ждет, всегда на месте и никогда не бросит. То, без чего не обойтись.

Поэтому и Михаил Тарковский невероятен и в то же время прост и понятен, ничего гнилостного, темного не прилипает к его рассказу. Только течение реки и жизни. Оно может быть и непредсказуемым, но в целом понятным, так как происходит по своим законам.

Головокружительная проза. Особенно рассказы. Будто после долгого сидения в городской самоизоляции попадаешь в лес, к реке и ощущаешь перенасыщение кислородом, потом та самая баня, изгоняющая все ненужное, делающая чистым, «освободившимся от копоты».

Действительно, с его прозы будто что-то зазвучало внутри. Пусть и чрезмерно пафосно это будет, но что-то внутри срезонировало и заиграло музыкой. Наверное, именно так «открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости» ко всему, что окружает.

Что это была за мелодия – сложно сказать, но нечто деятельное, побудительное и в то же время спокойное в своей рассудительности. С ней весь мир обретал красочность, становился искристым, почти что драгоценным, являл свою ценность и красоту. Будто покрывался блестящим инеем, который не прятал предметы и тем более не уродовал, а подчеркивал их красоту и осмысленность, потому как отражает свет.

Рассказ – что ручеек, который побулькивает под корочкой льда. Такова завеса тайны. Откололась льдинка – и возникает умиление от «зимней живучести речек и ручьев, продолжающих таинственно побулькивать» («Васька»), что новое откровение и радость.

Этим сокровенным звуком таинственного «побулькивания», несущего секрет «поразительной восприимчивости», и предстает проза Михаила Тарковского.

У него та самая пушкинская «речка подо льдом блестит»...

Ручеек, пробивающий себе дорогу, объемлющий и соединяющий мир, считающий его своим движением. Такова история не прекращающегося и приглушенно звенящего пути. Все тот же свет отечественного чуда, тайну которого смог сформулировать в свое время Пушкин. В его «Зимнем утре» есть и про пробуждение, и про движение «навстречу Северной Авроры». Про преображение-озарение светом окружающего пространства. И, конечно же, путь, бег, скольжение «по утреннему снегу». В этом движении лирический герой уподобляется той самой речке, которая блестит подо льдом, чтобы рано или поздно отыскать «берег, милый для меня»...

Таков путь Михаила Тарковского. Он подледным ручейком блестит и негромко «побулькивает». Это путь поэзии, которая соприродна национальному. Вот у Ивана Ильина есть отличное на этот счет: «Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одновременно – национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, – никогда не денационализируется».

Да, именно «звучащей музыкой», исходящей из образов, и можно определить прозу Тарковского. Чистейшая вода в движении. Символ преображения, если взять различные состояния воды и их изменения. Малые ручьи, наполняющие собой обширный Енисей, растворяющиеся в нем, через самоумаление, становящиеся иным и многим больше, чем были ранее, создающие многоголосие единства. Черета чудесных метаморфоз, литургия которых разворачивается в природе.

Это даже еще не сама поэзия, а ее чувство и процесс рождения из самых простых образов, которые подсвечивает та самая «восприимчивость». Через нее и ведется тонкая настройка человека на принятие этой поэзии, этого чуда.

Так осенью «лист кривой березки, скоро потребовавшей столько любви и прощения в своей нищете» может стать поводом благодарения Бога, а также личного эмоционального преображения. Именно эти состояния и важны, в тайге от них ничто не отвлекает. Наоборот, в ней «мир сведен до размеров, когда в нем можно навести порядок своими руками». Оттого, например, и «ненавидит всякую времянку, халтуру, лень» герой рассказа «Стройка бани» Иваныч. Его дело жизни как раз и заключается в устроении порядка, в делании и строительстве. Через это он и обретает «ощущение достойно прожитой жизни». Обустроенный им мир становится все «понятней, родней и благодарней при правильном обращении». За что он и заслужил легкую смерть, когда его «чистая» душа отлетела вверх «ручейком расплавленного воздуха», а все обиды и раздражения «струйкой крови ушли в землю».

Так персонаж Тарковского через передачу человеческого опыта, производящего порядок, оказался встроенным в вечный круговорот гармонии. Ста-

новится важным звеном в этом течении жизни, которая переходит в разряд вечного. Для вечности ведь еще и потрудиться надо, чтобы сохранить ее строй и порядок: «...может быть, действительно все продолжается – пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни». Она – в ручьи, те – в реку, где чистое поднимается вверх и становится снегом, который, падая, наполняет человеческие души светлой радостью. Человек вписан в этот круговорот, представляя с ним единое целое. Счастье и чудо достигается в этом единстве, а оторванность понятно к чему ведет. К неустрою и ощущению себя в качестве блуждающего и бессмысленного осколка.

Тайга – тайна. Здесь лучше всего познается смысл вечного круговорота жизни, который раскручивает энергия каждого.

Рассказы Михаила Тарковского, как правило, завершаются формулой чудесного, к которой стремится все повествование. Так время ставится на паузу, чтобы запечатлеть, оставить свою фотокарточку для вечности. В ней может быть и нагромождение случайностей и неправильностей, расходящихся с обыденной логикой, но можно также считать знаки и отражения иной реальности. В этом весь смысл. Те самые створы жизни и то, что поднимает вверх и не дает уйти под толщу житейской воды.

Сам рассказ – не что иное, как опыт соприкосновения с этим чудом. Тут и возникает образ ветра, отсылающий к библейскому движению Духа Божьего над водой. Через подобные проявления чуда, как необычайного синтеза, и человек возвышается над собой, обретает способности полета.

В финале рассказа «Гостиница “Океан”» Павлу показалось, что «он – самолет». Его полет зависит от чистоты керосина, который залит вовнутрь и питает движение: «...что же будет, если вдруг недостаточно чистой и прозрачной окажется горячая и горемычная моя душа»...

Можно стать ветром «порывистым, отчаянным, подхватывающим душу», обернуться чайкой, которая закружит «высоко над всем происходящим. Над всем родным и навсегда любимым...»

Через полет этот человек и получает способность прикосновения к тайне. Само русло, по которому движется автор, – путь прикосновения к ней, попытка обретения ключей тайн через созерцание мистики и отражений в простом. Через это прикосновение и возникает кадр – «замороженное время», запечатлевающий тайну и восторг от нее. Небо, вода и ветер создают особое полотно для отпечатка узора жизни.

В этом есть особое служение, будто в храме, ведь «природа – самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми». Сам образ России у Михаила Тарковского предстает «окутанный дремучей тайной природы». Своеобразная книга, в пространстве которой и разворачивается этот диалог. Остается только научиться читать и понимать его.

Отсюда и возникает внутренний диалог с Пушкиным, оставившим эталонный опыт прочтения ее. Диалог о служении и преемственности: «Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду, как могу, служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла» («Осень»). Разговор о служении «вечной красоте» возникает, конечно же, осенью...

Шелк – и откровение нового кадра «замороженного времени»: «в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка», с нее лиственничная хвоя плывет по реке – эта картина «и в старости будет волновать меня до озноба»... Кадры через остановку и замедление могут соединять и прошлое с настоящим и переплывать в будущее.

Шелк – и подтягивается все, «без чего нельзя жить», к дому Гоши из рассказа «Замороженное время». Неустроенное ранее жилище теперь сияет своей полнотой и порядком, так преобразается и сама жизнь героя. Цельность формирует застывшую картину счастья и покоя с одним желанием, чтобы «все это замерло навсегда».

«Не прошу ничего нового. Тихо прошу: оставь все как есть хотя бы еще немного. Не ломай ничего, Господи. Даже не дыши», – а это уже из прозы Захара Прилепина. Этот непроговоренный возглас читается то и дело и у Тарковского.

Шелк – и все те же вариации пушкинского «Зимнего утра». Идет снег и будто людям в душу попадает, оставляет там свой отпечаток. От него потом «на всю жизнь светло, легко делается». А на другой день – уже солнце, которое притягивает тот самый внутренний свет. Так и душа, и мир освещаются и наполняются гармонией. Снег и солнце производят чудо – знаки проявлений божественного в мире, Его попечение о человеке, напоминание «примороженным истрепанным людям, что не совсем забыл их еще Бог» («Ложка супа»).

Именно это же чудо преображения запечатлено и у Пушкина. Совершается преодоление хаоса и разлада с их спутниками: вьюгой, мглой, мутным небом и мрачными тучами. Преодолевается состояние замкнутости, скованности, печали. Хотя мгла и носится, беснуется, но она запечатана в мутном небе. Нет ни воли, ни простора. Чудо же устраняет любую пространственную ограниченность. Природа преобразается и наполняется чистой цветовой гаммой. Так же чудо преображения проникается в человеческое пространство – в комнату и дальше вовнутрь, в душу и находит там отклик. В комнате – печь, в душе – внутренний свет. Это единство создает праздник, веселье. Человеческое пространство через свет также размывает все границы и становится распаханым. Человек соединяется с природой и стихией в движении. Та мгла, которая еще накануне носилась, та вьюга, которая злилась, теперь становятся «кобылкой бурой».

Человек, преодолевая свою внутреннюю ограниченность, соединяясь с миром через свет и движение, не теряет себя, а, наоборот, через единение с общим обретает и постигает личное: «берег, милый для меня».

Так выстраивается система отражений, связывающая все сущее в единое целое, преображая мир и делая его украшенным. Что вполне вписывается в православную святоотеческую традицию. Например, «красота», украшенность у Григория Нисского тесно связана с центральным догматом христианского Шестоднева: понятием «образа и подобия».

Бог – высшая эстетическая величина, Он источает свою энергию-красоту на все творение. Тварный мир «украшается подобием красоты первообраза». Человек становится своего рода зеркалом, которое принимает и отражает или, наоборот, отвергает свет этой красоты. В человеке-зеркале формируется отражение – «подобие красоты первообраза». Человек, принявший это отражение, становится прекрасным, отступивший – «безобразным» в силу своей невосприимчивости Божественной красоты, закрытости к ней, своей ограниченности.

Через систему отражений прекрасного материя преобразается, обретает форму и получает сакральную эстетическую ценность. С «красотой» у святого Григория Нисского тесно связаны и этические категории, понятие добра» Собственно и церковнославянское слово «добро» синонимично красоте. Через красоту возможно различение «истинного и мнимого добра». Зло, по мысли святого, «прикрашивается» добром. Поэтому и природа зла эклектична, «смешанная», она состоит из противоположностей, в ней утрачен порядок, строй, правда, а вместо этого содержится обман, иллюзия.

Красота у Григория Нисского имеет и гносеологический аспект: «...через красоту и величие видимого исследуя неизреченную и паче слова силу Со-

творившего». Она преображает, возвышает, является свидетельством начального положения человека. Складывается из «чистоты, бесстрастия, блаженства, всего дурного отчуждения». В своем «Большом Катехизисе» Григорий Нисский пишет, что человек как вершина творения «украшен»: «...украшен он и жизнью, и словом, и мудростью, и всеми боголепными благами...».

Этот путь очищения и украшения человека можно проследить и в прозе Михаила Тарковского, который находится в пушкинском и святоотеческом контексте постижения-видения чуда и красоты.

Важно еще сказать, что сам он – самостоятельная и состоявшаяся художественная величина. Вовсе не прицеп к памяти родственников и звучной фамилии.

Его фамилия, если спекулировать и жить на иждивенчестве, могла бы стать тем же, что и нефтяное проклятие для экономики. Используй на полную катушку, а под итог... ничего. Пустота и готовый имидж сына лейтенанта Шмидта.

Это тот случай, когда необходимо не только следовать традиции, но и преломить ее, обозначить свой путь, свой вектор, протоптать собственную тропку на своем участке. У Тарковского получилось. И конечно, бабушка, бабушка... Михаил Тарковский все это списывает на ее влияние, именно она прилюбила к природе, к литературе, вере, что вместе и есть путь. Как традиционный, так и свой уникальный, неповторимый. О ее влиянии и рассказ «Бабушкин внук».

У своей бабушки писатель особенно отмечает «чувство русского пространства». Этот дар передан и ему: «географическое ощущение России», которая раскрывается через пространства и движение, при этом не обязательно горизонтальное.

Михаил Тарковский выстраивает особый русский крест, соединяющий пространство, показывает важность центробежного пути. Практически повторяя путь пушкинского поэта, который в «забавах мира» тоскует и бежит «дикий и суровый», переполненный звуков «на берега пустынных волн, // В широкошумные дубравы...».

Бабушка обозначила направление, курс, створы, которые сошлись и ведут по жизни. Плюс важна способность к видению чуда, а оно – что сигнальный маячок.

Чудо – не обязательно метафизическое понятие. Начинается оно со сдвига обыденного, нового синтеза образов. Та самая поэзия и есть стихия чудесного: «Так вот живешь-живешь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днем, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тети-Надины драгоценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, проскользнув душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие изредка сходящиеся створы и ведут тебя по жизни». Ведут путем воды и ветра, в сочетании которых и рождается музыка.

Этим путем ведет и Енисей, воспринимающийся за старшего брата. По нему равняют жизнь, как тот самый Парень из рассказа «Ложка супа», который «шел, потрагивая Енисей веревкой и зная, что связан с ним этой веревкой навсегда». Такова его неразрывная пуповина.

По схожим «створам» идет и прозаик Илья Кочергин («Точка сборки: повесть-триптих»). У Тарковского и Кочергина – общность пути, «чувство географии» и открытость чуду.

Кочергин – также один из голосов, преодолевающих иллюзию проклятия пространства, которое размывает знание о стране. Навязывает ложную мифологию «центр – периферия», по которой, чем дальше от центра, тем больше чувствуется обреченность и пустынность. Это важная линия в современной отечественной литературе. Здесь уже можно услышать отголоски советского порыва к покорению территории, выразителем которого был, например, Олег Куваев.

Речь идет о прозе географии, пространства. И вопрос здесь ставится все тот же почвенный, неизбывный, как в шукшинском киносценарии «Брат мой»: «Уехать – дело нехитрое. А на кого землю-то оставили? <...> Так и все уедем помаленьку. Что же тогда будет-то?» Этот вопрос звучит сейчас у многих авторов. У того же Михаила Тарковского, у Романа Сенчина.

У кочергинского героя вектор, что и у Тарковского. Он вырвался из Москвы, но только не в Красноярский край, а на Алтай. Его предки покоряли Первопрестольную, он же первооткрывателем вступает на территорию неизведанной земли. Его задача – присвоить это пространство, сделать своим. Прочувствовать «восхитительную ушибленность» огромностью территории, преодолеть отчуждение от нее.

Присвоение пространства – особый сдвиг, раскрытие чуда и постижение новых миров. С этим процессом связан главный концептуальный образ-символ повести Ильи Кочергина – точка сборки. Ее суть формулирует герой книги Митя Комогорцев: «...человек представляет из себя такое яйцо, сферу такую. И на боку у яйца есть такая светящаяся точка. Точка сборки. Она у всех людей в одном и том же месте, мы приучены ее держать там же, что и другие люди. Через нее проходят нити вселенной. Если мы ее сдвинем, то зацепим новые нити и увидим все по-другому. Увидим чудесные вещи, другие миры». Чудо Тарковского также происходит через подобные сдвиги. Он не пишет о «точке сборки», но говорит о «сердцевине бытия», к которой может быть причастен человек, и через это он обретает «безотчетную гордость за свою жизнь».

В смещении заключено умное зрение, открывающее и соединяющее миры. Смещение точки сборки производит «совершенно чудесные, сказочные вещи!». В движении, в присвоении пространства, также совершается особый сдвиг, позволяющий по-иному смотреть на мир, постигать его.

Через присвоение пространства и смещение точки сборки производится у Кочергина личное домостроительство – построение чудесного мира. Этот мир заключен в огромном и в то же время малом пространстве между костром и «далекой космической суетой». В процессе завоевания пространства и смещения точки опоры человек будто выходит из себя, преодолевает личную замкнутость, размывает границы.

Совершается своеобразный выход в космос, который и описывается Кочергиным. Через центробежное движение преодолевается отчужденность, происходит открытие большого мира, который присваивается как трофей, делается своим.

В центре книги Ильи Кочергина – традиционное противопоставление: «здесь – там». Москва – «нулевой километр» и пространства с другой стороны. Временное, новостная повестка, огонь костра и вечное, космос, звезды. И «я» героя – это огонек сигареты, который где-то между этими декорациями. Если сместить точку сборки, то «я» будет вполне соотносимо и с большой историей, которая свершается где-то в параллельной реальности, и с мирозданием. Все соизмеримо и равнозначно. Человек может отматывать историю назад, жадно и ненасытно присваивать пространство, «захватывая новые отпущенные тебе пространства, называя их и примеряя к себе», выстраивая особую космогонию?.. Об этом строительстве и причастии книга Ильи Кочергина, ее герой не просто меняет свои пространственные координаты, а роднится с территорией, соединяется с ней, «вступает во владения» своей огромной страны.

У Кочергина есть также отличный очерк «Чувствительность к географии». В нем автор-герой с супругой через двадцать лет посещает места, описанные в повести, и отмечает: «Мы плохо чувствуем огромное тело своей страны, словно подростки, не свикшиеся еще со своими вымахавшими конечностями. Тело



работает, иногда устает, истощается, требует отдыха или болит. Но оно для нас только ресурс, мы пугаемся и злимся, когда оно подводит нас».

Отсюда и необходимое напоминание о теле страны – едином и живом организме, сейчас во многом заброшенном, непознанном, о пространстве, все больше становящемся пустынным, сжимающемся, тяготеющем к тому самому «нулевому километру».

Как-то прочел в интервью Михаила Тарковского фразу, что его Родина – «Россия, от океана до океана». Отечественная цивилизация всегда была географической единицей, без пространства здесь никуда, но пространство – не некое нечто, а многоголосное, и эта многоголосица всегда тяготеет к симфонии, к порядку и стройности.

Россия – огромная стихия, цивилизация, наполненная голосами.

Каждый выстраивает свой путь постижения и скрепления страны. Кто-то мыслит городами: Калининград, Псков, Архангельск, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. Или монастырями, и сразу вспоминается луч Северной Фиваиды, доходящий до Соловков, который, в свою очередь, пускал путевые стрелы на Восток. Кто-то через слова, через голоса людей, которые не просто пишут книги, а ощущают дыхание жизни, пульс территории и цивилизационной симфонии, в которой начинают выполнять роль почти что дирижерскую: Илья Кочергин, Михаил Тарковский, Василий Авченко, Дмитрий Новиков. Это не региональный, не местечковый и провинциальный разговор, они, будто первооткрыватели и первопроходцы, повторяют путь отечественной идеи по освоению и постижению пространства: на океан, в безграничность. Сами становятся звеньями пути страны и ее стражами, хранителями.

У нас с завидной регулярностью говорят о переносе столицы за Урал. Если же говорить о пути слова, то центр в том числе там, где Михаил Тарковский. В этом смысле он столичный житель, в какую бы глухую тайгу ни забирался от океана до океана, он несет с собой симфонию слова, в которой свет русского пространства.

«Замороженное время» Тарковского – многозначный образ-символ. Это и сама Россия, в мерзлоте которой могут схорониться не только туши мамонтов, но и гигантская цивилизация: «Спрячься-схоронись в зимних просторах, русская Божья душа». Холод не дает «червоточине дойти до сердцевины». А это уже и человека касается.

Речь идет о том, чтобы не просто застыть в победоносцевской подморозке, а жить формулой русского чуда соединения несоединимого: «Мороз и солнце – день чудесный!» В ней не возникает никакого противопоставления, диссонанса и отталкивания, через отражения одного в другом производится синтез, выводящий на новый уровень качества – чудо.

У Тарковского это так: «...мороз и яснец. Полное отсутствие какой-либо слякоти как снаружи, так и внутри. Полная бодрость». Внешний мороз внутренний человеческий жар производит.

Чудесное – свет рублевской «Троицы». Для этого света нужны большие пространства, по крайней мере, не может быть никаких преград. Ведь простор и воля в русской культуре, как писал Дмитрий Лихачев, всегда считались «величайшим эстетическим и этическим благом для человека». Все так и у писателя в его постижении, чувствовании и знании, что есть «великая и горькая ширь жизни».

Человек у Тарковского встраивается, естественным образом вписывается в большой мир и обретает себя, осмысленность своего существования. Через это возникает ощущение всеприсутствия единства, нет чувства покинутости, заброшенности, одиночества. Традиция, опыт, природа, а также видение чуда

наполняют все. В этом как раз и состоит служение «вечной красоте» со стремлением «защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла»...

Тот же Дмитрий Лихачев, рассуждая о древнерусских церквях, говорит о том, что «их строили в единении с природой», а чертеж делали «прямо на земле». Поэтому и храм гармонично вписывался в окружающий ландшафт. Человеческая культура и природа здесь, по его мысли, дополняли и «подправляли друг друга». Вот и герой Тарковского наводит порядок своими руками, обустроивает мир, противостоит хаосу и разладу. В этом гармонизирующем соработничестве, писал Лихачев, человеческая культура смягчает «резкости природы», которая, в свою очередь, смягчает «все нарушения равновесия, которые невольно вносил в нее человек». В этой встрече и возникают «нравственные основания», через которые тоже древнерусское искусство «преодолевают окружающую человека косность, расстояния между людьми, мирит его с окружающим миром».

Чувство родства – это когда не надо много говорить, не нужна и длинная история личных взаимоотношений. Достаточно взглянуть в глаза, пожать руку, обнять, перекинуться парой фраз. Все это второстепенные жесты, а светлое чувство и без них обойдется. Так и с Михаилом Тарковским. В его рассказах как раз и заключена энергия родства. После них уже не можешь автора воспринимать чужим, посторонним.

Рассказ Тарковского – не просто изложение истории, а попытка проникнуть за внешнюю оболочку реальности. Настройка особого «умного зрения», когда видение внешнего, причинно-следственного хода вещей сменяется морально-нравственной системой координат, душевным видением. Именно поэтому «грех» за убитую чужую норку изменяет формат восприятия реальности, он становится будто бы нарушенным, увечным и восстанавливается только «далеким отпускающим жестом» («Вековечно»). Чем не форма «замороженного времени», которое будто останавливается и подвешивается в пространстве и времени, как «морожены песни» Степана Писахова?..





ШАМИЛЬ  
ИДИАТУЛЛИН,  
СТР. 90



# АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ, СТР. 10



ISSN 0132-2036 20007

